

ШАРЛОТТА
БРОНТЕ

Шерли



АЗБУКА-КЛАССИКА

Азбука-классика

Шарлотта Бронте

Шерли

«Азбука-Аттикус»

1849

УДК 821.111
ББК 84(4Вел)-44

Бронте Ш.

Шерли / Ш. Бронте — «Азбука-Аттикус», 1849 — (Азбука-классика)

ISBN 978-5-389-21472-9

Перу Шарлотты Бронте, автора популярнейшей и любимой многими поколениями читательниц «Джейн Эйр», истории очередной Золушки, принадлежит и ряд других, не менее увлекательных романов. Например, предлагаемый в настоящем издании роман «Шерли», где с психологической выверенностью и жизненной правдой представлены переживания главных героев: милой девушки из клерикальной семьи, охваченной тоской и мечтами, молодого фабриканта с байронической внешностью и, конечно, самой Шерли — блестящей аристократки, обаятельной и сильной духом.

УДК 821.111
ББК 84(4Вел)-44

ISBN 978-5-389-21472-9

© Бронте Ш., 1849
© Азбука-Аттикус, 1849

Содержание

Неукротимый дух	6
Глава I. Левиты[1]	14
Глава II. Фургоны	23
Глава III. Мистер Йорк	32
Глава IV. Мистер Йорк (Продолжение)	37
Глава V. Домик в лощине	44
Глава VI. Кориолан	54
Глава VII. Священники в гостях	66
Глава VIII. Ной и Моисей	81
Глава IX. Брайермейнс	90
Конец ознакомительного фрагмента.	96

Шарлотта Бронте

Шерли

© Ф. Л. Мендельсон (наследник), перевод (гл. 18–37), 2013

© Е. Ю. Гениева (наследник), статья, 1990

© Издание на русском языке, оформление. ООО «Издательская Группа „Азбука-Аттикус“», 2011

Издательство АЗБУКА®

* * *

Неукротимый дух

Вступление сестер Бронте в литературу было мгновенным, таким же внезапным был их уход. Дольше всех сияла на литературном небосклоне звезда Шарлотты Бронте. Но скупомысленные им судьбой годы они использовали так, как если бы прожили долгую жизнь. Единственное произведение Эмили Бронте «Грозовой перевал» – одно из самых великих и самых таинственных произведений в мировой литературе. Эмили и Шарлотта – признанные классики английской литературы, а Энн, чей талант был не такой яркий, – значительная викторианская писательница, несправедливо обойденная вниманием нашей критики.

Многие поколения ученых, биографов, литературоведов размышляют над феноменом этой семьи, проводят научные симпозиумы в Лондоне и на их родине в Йоркшире, строят гипотезы, по крупицам собирают все, что хоть как-то может объяснить загадочную и трагическую судьбу сестер. Честертон, кому трудно отказать в проникательности, с плохо скрываемым раздражением писал о том, «что яркий факел биографов вряд ли оставил в покое хоть один темный угол старого йоркширского дома». В самом деле, эти исследования, не лишённые очарования и интереса, не совсем подходят к сестрам Бронте. Их жизнь, их творчество утверждают незначительность всего внешнего, материального. С ними мы оказываемся в стихии духа, а потому, наверное, гораздо важнее понять причины, истоки, корни их творческой, пожалуй не имеющей себе аналогов в литературе «коллективной» одаренности. Примеров талантливых семей немало в истории литературы и культуры. Вспоминаются Уильям и Дороти Вордсворт, Чарльз и Мэри Лэм, Габриэль, Кристина и Майкл Россетти, дети Лесли Стивена: Вирджиния Вулф, ее сестра – художница Ванесса Белл, семья Уильяма Батлера Йейтса, наконец, братья Гонкуры.

И все же союз сестер Бронте был не столько по крови, сколько по духу. Современники, пытавшиеся разгадать тайну их «тройного псевдонима»: Каррер, Эллис и Эктон Белл, были не так уж далеки от истины, когда считали, что за этими странными именами скрывается какое-то одно существо.

Их талант буйно расцвел на одной почве – суровой почве затерявшегося в йоркширской глуши дома сельского священника; а потому их книги – романы и удивительные в своей лирической обнаженности и открытости миру и вечности стихотворения – проникнуты одинаковыми страхами, радостями, надеждами, разочарованиями.

Злой рок преследовал семью священника из Йоркшира Патрика Бронте. Старая церковь в Хоурте, где он служил, хранит мрачную летопись смертей. В 1821 году скончалась его жена Мэри. От неведомой болезни сгорели, едва достигнув тридцати лет, единственный сын Патрика Бронте Патрик Брэнсуэлл и дочь Эмили. Только на год пережила их Энн. А в 1855 году рядом с матерью, братом и сестрами положили Шарлотту, умершую на тридцать девятом году жизни, едва успевшую познать литературный успех, вкусить радостей домашнего очага и счастья будущего материнства. Трагедии, постигшие ее семью, рано возложили на ее плечи многочисленные заботы: надо было думать не только о домашнем хозяйстве, но и о том, как лучше пристроить сестер, чтобы выбранный ими труд гувернанток приносил сносный доход, а переговоры с издателями – хоть какие-нибудь плоды.

Отец, о котором современники, отчасти с легкой руки Элизабет Гаскелл, автора «Жизни Шарлотты Бронте», книги, без которой не обходится ни один исследователь творчества писательницы (ведь это – прижизненное свидетельство), сложили немало легенд как о домашнем деспоте и самодуре, и в самом деле был плохой поддержкой в практических делах. Ирландец по происхождению, сын бедного крестьянина, он обладал отличными внешними данными, которые делали его, неотесанного деревенского паренька, аристократом в поведении, манере держаться, разговоре. Он был, несомненно, богат природными талантами, благодаря которым

выбился в люди и даже сумел закончить Кембридж, что, впрочем, не слишком расширило его социальные возможности. Перед ним открывалась одна стезя – священнослужителя, кем он и стал, обосновавшись в Йоркшире, хотя в душе мечтал о другом – доблести и славе солдата. Тем немногим людям, кто был вхож в его дом, он казался малоприятным чудачком. Странности усилились со смертью жены, которую он очень любил и которая, видимо, была духовно близка ему. Материальная сторона жизни казалась ей несущественной: напротив, нищету она воспринимала как благо, посланное Небесами, – ведь нищему легче войти в Царствие Божие. Дни напролет просиживал Патрик Бронте в своем кабинете, готовясь к проповеди или зачитываясь каким-нибудь фолиантом. Даже трапезу и ту он предпочитал принимать в одиночестве. Драма Патрика Бронте была не в том, что он стал священником, но в том, что он не стал, кем хотел. Именно нереализованность натуры толкала его на странные поступки, объясняла его часто подавленное, угнетенное настроение.

И все же роль этого чудаковатого, но, несомненно, одаренного человека велика в духовном и интеллектуальном становлении его талантливых от природы детей. У него была собрана обширная библиотека, он был подписчиком многих газет и журналов, потому что «коридоры власти», взлеты и падения монархов, доблести полководцев, их победы и поражения интересовали его во сто крат больше, чем жития святых. Он – что было в высшей степени нетипично для английского пастора его времени – высоко ценил Байрона, отменно знал кельтские предания, которые рассказывал детям во всех подробностях, не тая ужасов и двусмысленностей. Поступал он так потому, что имел либеральные взгляды на образование. Дети его, за исключением, пожалуй, Энн, провели мало времени в школе. Патрик Бронте твердо верил, что только чтение, причем разностороннее, размышление, предпочтительно в одиночестве, общение с природой, постоянное и естественное, могут сформировать личность, развить ум, наставить на верный путь душу. Поэтому он предоставлял детям, в том числе и девочкам, полную свободу в выборе книг, откровенно и подробно обсуждал с ними прочитанное. Об особенностях интеллектуальной атмосферы, царившей в доме Бронте, можно судить по тому, что Патрик Бронте всерьез обсуждал политические новости с десятилетней Шарлоттой. Возможно, у него не было лучшего собеседника, но, как показывают некоторые письма Шарлотты Бронте, она, несмотря на свой юный возраст, действительно знала, что происходит в парламенте, чем славен Наполеон и плох Веллингтон. Все это имело двойные последствия: с одной стороны, дети безоговорочно приняли политические взгляды отца и стали, повзрослев, убежденными тори, с другой – беседы развили в них независимость суждений, уважение к поступку, человеческой личности. Патрик сам писал стихи (довольно посредственные), мечтал издаться, поэтически приветствовал творчество своих детей – увлечение живописью Патрика Брэнзуэлла, поэзией и прозой – дочерей. Конечно, полученное Патриком Брэнзуэллом и его сестрами образование и воспитание плохо подготовило их к реальной жизни. Патрик Брэнзуэлл, которого в семейном кругу считали талантливым живописцем, не поступил в Королевскую академию художеств, и этот провал сломил его. Общение с внешним миром, «жизнь в людях» была мучительна для сестер. Однако эти же отрицательные обстоятельства способствовали и максимальному раскрытию их самобытных талантов. Наверное, знай Шарлотта Бронте и Энн Бронте лучше английскую литературную традицию, их книги вызывали бы меньше формальных нареканий. Но ведь настольной книгой в семье была «самая великая книга» – Библия, и ее дочери священника знали едва ли не наизусть. Отсюда, кстати, такое обилие библейских образов, прямых и скрытых цитат, парафраз в произведениях Шарлотты Бронте.

Воображение молоденьких сестер, так рано осознавших себя творцами, питали, конечно, не только книги и не только разговоры, но и сам их уединенный дом, стоящий на кладбище, среди могил, открытый всем ветрам и любой непогоде; народные предания, знатоком и мастерским рассказчиком которых была их старая няня; близость, реальность, неотвратимость смерти; мысли, а что же там – за гробовой чертой; и, конечно, природа, с которой они были

не просто близки, но тесно слиты. Едва открыв дверь дома, они оказывались на вересковой пустоши, по которой вместе или в одиночку часами бродили и где на приволье их посещали удивительные образы прекрасных королей, безжалостных злодеев, нежных принцесс, видения далеких жарких стран. Давайте мысленно перенесемся в далекий Хоурт, в скромный дом священника Патрика Бронте. Вот его кабинет, а вот и гостиная с алыми, потускневшими от времени обоями – не потому ли этот цвет так часто встречается у Шарлотты и Эмили. Вот диван, на котором умерла Эмили, обеденный стол – здесь были написаны все их романы. Поднимемся наверх. Тут спальни. Из них открывается очень грустный вид на кладбище, на могилы, смотрящие в окно. Становится тяжело на душе. Часы бьют девять, семья собирается на общую молитву, после которой его преподобие Патрик Бронте отправляется на покой. И тут три молоденькие девушки, как проснувшиеся лесные создания, начинают кружить по гостиной и плести свои чудесные истории. Еще мгновение – и они унесутся мечтой в воображаемые, фантастические страны – в Гондалу Эмили и Энн; Ангрию Шарлотты и Патрика Брэнуэлла. В Англии правил своенравный, обольстительный и жестокий герцог Заморна. О его военных доблестях слагал стихи Патрик Брэнуэлл; о бурной любовной жизни, изменах, неземной страсти, ревности, тоске – Шарлотта.

Завывает ветер на кладбище, еле тлеет камин, странные шорохи слышны по углам угрюмого дома, но четверо молодых людей ничего не замечают – они далеко, в стране грез, где царит неземная любовь, где в яростных черных глазах Заморны «сверкают все молнии ревности», где забываешь, что ты некрасива, мала ростом, больна, что тебя душит кашель, что...

«Мало кто поверит, – пишет в дневнике Шарлотта Бронте, – что воображаемая радость может доставить столько счастья».

Об этих удивительных странах и их не менее удивительных жителях сестры пишут стихи. Это начало их писательской карьеры. Пройдет совсем немного времени, и эти безудержные романтические вирши уступят место другим, тоже романтическим, но уже более земным – в них отразится реальный опыт сестер: страх перед большим миром, ужас от пребывания в школе, жажда, неумемная жажда любви, сочувствия, сострадания.

Но как решить, а можешь ли ты писать? Надо обратиться за советом к великим. И маленькая, скромная, безвестная девушка из Хоурта пишет поэту-лауреату Саути. И вот ответ-приговор: «Праздные мечтания, в которых вы ежедневно пребываете, способны нарушить покой вашего ума, и, поскольку обычные дела покажутся вам пустыми и бессмысленными, вы почувствуете себя неспособной к их исполнению, не сумеете стать пригодной к чему-нибудь еще. Литература не может быть делом женщины и не должна им быть. Чем больше женщина занята свойственными ей обязанностями, тем меньше у нее остается досуга для литературы, даже если это занятие второстепенное или просто развлечение. Жизнь вас еще не призвала к исполнению своих обязанностей, а когда это свершится, вам не захочется мечтать об известности».

Правда, прочитав это нравоучение, Саути, которому стихи, видимо, понравились, все же «разрешил» Шарлотте Бронте «досуг для литературы»: «Пишите стихи ради них самих, без излишней гордыни, не рассчитывая на славу. Тогда это занятие не повредит ни вашему сердцу, ни уму».

После такой отповеди как не впасть в тоску и уныние. Но какое там – Шарлотта Бронте пишет ответ лауреату. Ей, покорной дочери сельского священника, гувернантке, которой надобно думать о хлебе насущном, необходимо оправдаться: нет, у нее и в мыслях не было пренебрегать своими женскими, дочерними обязанностями, и времени у нее нет для праздных мечтаний, и она, конечно, бросит сие неподобающее для молодой девушки занятие. Ей даже, наверное, казалось, что она именно так и поступит. Но неукротимый дух, безудержное воображение уже определили ее судьбу.

Этот неукротимый дух не раз на протяжении ее короткой жизни заставлял Шарлотту принимать решения, которые никак не вязались с образом послушной дочери сельского свя-

щенника без каких-либо средств к существованию. Брат ее близкой подруги, получив место помощника священника, решил сделать Шарлотте предложение. Ему нужна разумная, послушная, покладистая жена, в меру образованная – ведь ей придется учить детей в сельской школе. Он нисколько не сомневался, что его предложение будет принято. Но получил решительный отказ. Хотя краски Англии и образ Заморны потускнели от соприкосновения с жизнью, школами, пансионами, денежными счетами, починкой поношенных платьев – в одном она осталась верна своей мечте: что угодно, но только не прозябание в любви, не тусклая доля жены священника.

И все же обстоятельства в конце концов оказались сильнее мечты. За год до смерти она дала согласие на брак с Артуром Николсом, преемником мистера Бронте в Хоуртском приходе, который уже второй раз делал предложение Шарлотте. Этот брак сулил сносное существование, ведь кто знает, может быть, ухудшающееся день ото дня здоровье и не даст сил заниматься литературным трудом. Николс был вполне достойным человеком, наверное, искренне любил Шарлотту, но весьма ревниво относился к тому, что отнимало у него внимание жены, – к ее творчеству. А ей так хотелось с ним поделиться своими замыслами. Совсем незадолго до смерти, в последние дни 1854 года, Шарлотта Николс грелась у камина, прислушиваясь к вою ветра за окном, и вдруг сказала мужу: «Если бы мы не сидели тут вдвоем, я бы, наверное, сейчас писала». И, бросившись наверх, вернулась с рукописью – началом новой книги. Она стала читать ее вслух. Когда она закончила, ее супруг сурово заметил: «Критики скажут, что ты повторяешься». – «Я переделаю, – с готовностью возразила она, – я по два, по три раза принимаюсь за роман, прежде чем остаюсь довольна». Но этому не суждено было свершиться.

Начало литературной деятельности сестер, которые готовились всю жизнь прожить гувернантками, что было естественно в их положении, а отнюдь не писательницами, положила случайность. Осенью 1845 года Шарлотта Бронте обнаружила тетрадь со стихами, написанную почерком Эмили. И до этого она знала, что сестра писала стихи, но эти показались ей особенными: «Они были лаконичны, жестки, живы и искренни. А для меня они звучали особой музыкой, дикой, меланхолической и возвышенной». Стихи были и у Энн. Писала стихи и сама Шарлотта. Почему не попытаться издать сборник? Самым трудным оказалось убедить Эмили, человека, как пишет Шарлотта Бронте, «необщительного, не разрешавшего даже самым близким и дорогим ей людям вторгаться без спросу в область ее мыслей и чувств». Но вот уговоры позади, и Шарлотта, самая энергичная из сестер, берет на себя все приготовления. Сначала надо придумать псевдоним, скрыв за ним свою женскую сущность: в противном случае суровые критики не обойдутся без оскорбительных намеков на ограниченность женского мышления. Уже в конце января 1846 года поэтический сборник «братьев» Белл увидел свет и даже удостоился похвалы критика из солидного журнала «Атенеум». Рецензент особенно выделил Эллиса Белла, то есть Эмили, чей «беспокойный дух создал такие оригинальные стихотворения».

Успех окрылил «братьев». В одном из писем издателем Шарлотта спрашивает, а не заинтересует ли их проза Каррера, Эллиса и Эктора Беллов. Она имела в виду свой первый роман «Учитель», «Грозовой перевал» Эмили и «Агнес Грей» Энн. «Грозовой перевал» и «Агнес Грей» приняли к публикации, а вот «Учитель» принес немало огорчений Шарлотте Бронте. Он увидел свет только после смерти писательницы. А при ее жизни шесть издателей отвергли его. Видимо, как и Элизабет Гаскелл, они считали, что сюжет «не очень интересен с точки зрения того читателя, который ищет в романах всякого рода чрезвычайных происшествий». Действительно, «чрезвычайных происшествий» в романе нет. История молодого человека Уильяма Кримсуорта, рано лишившегося родителей, получившего неплохое образование и отправившегося учительствовать и искать счастья в Бельгию, где он и встречается свою любовь, рассказана просто, безыскусно, не так, как было заведено у современников Шарлотты Бронте, которые ценили приключения, трагедии, роковые страсти. История Кримсуорта, конечно, автобиогра-

фична: Шарлотта Бронте тоже была в Бельгии, сначала училась, а потом учительствовала в пансионе супругов Эгер, где и встретила свое самое сильное чувство в жизни – любовь к учителю м-сье Эгеру, преподавателю французской словесности, человеку умному, вспыльчивому, обаятельному – словом, настоящему романтическому герою, который, конечно же, послужил прототипом для мистера Рочестера в «Джейн Эйр».

Судьба трех других романов Шарлотты Бронте иная. «Джейн Эйр» (1847), «Шерли» (1849), «Городок» (1853) вызвали живейший интерес читателей и критиков, среди которых, надо заметить, были весьма искушенные ценители, например знаменитый автор «Ярмарки тщеславия» ироничный Теккерей. Но и он рыдал над «Джейн Эйр», и он, убежденный противник всяческих романтических преувеличений, нелицеприятный критик Байрона, Жорж Санд и Виктора Гюго, вынужден был признать, что эти живые, полные искреннего, неподдельного чувства страницы никого не могут оставить равнодушными. «Кто автор, – писал Теккерей, – я догадаться не могу. Если это женщина, она владеет языком лучше, чем кто-либо из ныне живущих писательниц, или получила классическое образование. Впрочем, это прекрасная книга. И мужчины, и женщины изображены превосходно. Передайте автору мою благодарность и уважение. Этот роман – первая из современных книг, которую я смог прочесть за последние годы».

Конечно, такой отзыв обрадовал Шарлотту Бронте. Второе издание «Джейн Эйр» она посвятила Теккерее. Бедная провинциальная девушка, окрыленная успехом, чистая в своих помыслах, даже не могла себе представить, какие пересуды, досужие вымыслы и безобразные сплетни вызовет ее наивное, романтическое и высокое посвящение. Она не поскупилась в нем на сравнения, похвалы, цветистые метафоры, назвала Теккерее «гением», «орлом», говорила об его уникальности, возвышенности ума и тонкости чувств. «Я почитаю в нем первого борца за очищение общества наших дней, главного мастера среди тех тружеников, кто стремится восстановить во всей чистоте извращенный порядок вещей». Газетчики, а вслед за ними и люди света начали поговаривать о том, что уж не Теккерей ли Рочестер, а Бекки Шарп – эта Каррер Белл.

У каждого писателя есть «своя» книга, в которой его талант, ум, душа воплощаются особенно полно. У Шарлотты Бронте – это «Джейн Эйр».

Роман бесчисленное число раз переиздавали не только в Англии, множество раз экранизировали, делали телефильмы и радиопередачи. В Англии «Джейн Эйр» изучают в школе; об этом романе написаны сотни статей, исследований, диссертаций. Но главное – ему безраздельно отдано сердце читателей в самых разных странах мира и, конечно, в России: эту книгу узнали и полюбили у нас почти сразу же после ее появления в Англии. И даже те, кому не довелось прочитать эту книгу, знают о существовании ее удивительной героини – Джейн Эйр, маленькой невзрачной гувернантки, нашедшей после многих горестей свое счастье. Порой, размышляя о популярности этой книги, ее притягательной силе, начинаешь думать, а нет ли здесь чего-то мистического. В самом деле, литературоведы, среди которых в XX веке такие авторитеты, как Ливис, давно объяснили, что стилистом Шарлотта Бронте была довольно-таки посредственным, что ее сюжеты не выдерживают критики: уж больно много в них совпадений и всяческих нелепостей. Что стоит, скажем, сцена, где Рочестер предстает переодетым цыганкой. Да и вообще, как заметил Честертон, поступки Рочестера так чудовищны, что даже знаменитая пародия Брета Гарта не в силах представить их в утрированном виде: «Тогда, как обычно, он швырнул мне в голову ботинки и вышел». К тому же и характеры Шарлотты Бронте статичны: ей далеко до психологизма Джейн Остин. Впадает она часто и в патетику, совсем нелюбезную читателю XX века, и прочая, и прочая.

Но все доводы рассудка, все доказательства Ливиса, уверенной рукой исключившего Шарлотту Бронте из «великой традиции» английской литературы (заметим, он оставил в ней ее сестру – Эмили), меркнут перед неувядающим вот уже полтора столетия очарованием ее стра-

ниц. От Шарлотты Бронте бесполезно ожидать знания жизни, правдивости и точности в описании манер, деталей быта, примет времени. Правда этой книги в другом – в правде чувства. И вот от такой правды минутами захватывает дух. Нет тут никакой мистики – просто эти страницы и этих героев породили на свет сильное и страстное сердце, ум, который не мудрствовал лукаво, фантазия, столь буйная и чудесная, что она вызвала к жизни демонически прекрасного Рочестера, по которому и сегодня, в начале XXI века, втайне вздыхают молоденькие девушки, и трогательную, некрасивую, прекрасную в своей любви и стойкости Золушку – Джейн Эйр.

Однако будем справедливы. Не всегда чувство, страсть водили пером Шарлотты Бронте. Ее последний законченный роман «Городок», еще одна повесть о любви, на сей раз несчастной, роман и более психологический, и, конечно, более реалистический. И его нравственный урок не столь прямолинеен и дидактичен и требует от читателя больше работы мысли и души: ведь это книга о необходимости, несмотря ни на что, нравственной самодисциплины. Все литературные достоинства налицо, они очевидны специалистам, но обычный читатель давно выбрал «Джейн Эйр».

Если взглянуть на книги Шарлотты Бронте и ее сестер с историко-литературной точки зрения, то, наверное, можно будет сказать, что они в чем-то даже нагляднее, чем произведения «титанов» Диккенса и Теккерея, тяготевших к масштабности, монументальности изображения, показывают процесс становления английского классического реализма, его особенности. На примере «Джейн Эйр», «Городка», исторического романа «Шерли», «Агнес Грей» и «Грозового перевала» видно, например, что для английского реализма, скажем в отличие от французского, характерно не столько отталкивание от романтической эстетики, сколько гармоничное сочетание реалистических и романтических черт в творчестве даже одного писателя. Свидетельство этому отнюдь не только книги сестер Бронте, но Чарльза Диккенса, Элизабет Гаскелл и даже «апостола обыденности» Уильяма Мейкписа Теккерея.

Не будет преувеличением заметить, что с творчеством сестер Бронте английский реализм вступил и в новую для него область внутренней жизни. Если Теккерей был первым английским писателем, который использовал роман для сознательной и последовательной критики общества, то Шарлотта Бронте первая превратила его в средство самораскрытия и самоанализа личности. Сказанное, безусловно, не означает, что на страницах ее книг не найти социально-обличительных образов, которые так удавались английским реалистам, – бездушных педагогов, тупых чиновников, расчетливых предпринимателей, картин нищеты и бесправия. А ловудская школа в «Джейн Эйр» превратилась в такой же символ порочного образования, жестоких, бесчеловечных порядков, как Дотбойс-холл в «Николасе Никльби» Диккенса. Но все же самой сильной и самой оригинальной стороной дарования Шарлотты Бронте было изображение внутреннего мира человека. По своей сути все романы Шарлотты Бронте – это растянувшаяся автобиография, в которой героини и герои вскрывают чувства, переживания самой их создательницы. По мере того как крепла рука Шарлотты Бронте, все убедительнее, все «ближе к жизни» становился рассказ об этом пылающем, мятущемся сердце. Трудно сказать, каким был бы ее новый роман о бедах и тревогах юной Эммы, если бы смерть не прервала работу над ним. Может быть, она задумала помериться силами с писательницей, которую не слишком жаловала, – Джейн Остин? Ведь вряд ли это случайность, что героиню незавершенного романа Шарлотты Бронте зовут, как и знаменитую героиню Остин, Эмма? Впрочем, творческие отношения этих писательниц заслуживают отдельного рассказа.

В середине сороковых годов завязалась переписка между Шарлоттой Бронте и видным английским критиком, будущим теоретиком английского натурализма Генри Льюисом. Восхищенный «Джейн Эйр», он направил Шарлотте Бронте письмо, где, наряду с самыми искренними и высокими похвалами, содержались и критические соображения: Льюис советовал Шарлотте Бронте «остерегаться мелодраматизма и держаться правды». Шарлотте Бронте был неизвестен ее корреспондент. Кто он, она узнала у своего издателя Джорджа Смита уже после

того, как отправила ответ. Этот ответ стоит привести: в нем интересны не только мысли Шарлотты Бронте о «правде» в искусстве, интересно и то, как в этих строках проявилась ее личность.

«Вы советуете мне, – писала Шарлотта Бронте, – придерживаться только личного опыта, считая, что я пишу хуже, как только отклоняюсь от него, отдавая воле вымысла. Вы говорите: „Подлинный опыт интересен, притом интересен решительно всем“. Может быть, вы и правы. Но разве личный опыт любого из нас не ограничен? И разве автор, опираясь только на свой личный опыт, не рискует повториться и в конце концов стать эгоцентричным? И еще. Наше воображение – великий дар, настоятельно требующий выражения. Неужели мы не должны повиноваться его голосу, когда оно столь красноречиво и громко диктует нам, неужели мы не должны повиноваться его требованиям?»

В другой раз Генри Льюис посоветовал Шарлотте Бронте следовать Джейн Остин и тщательнее «отрабатывать образы», «быть более сдержанной». И на эти поучения он получил гневную отповедь: «Недоумеваю, почему Вам так нравится Джейн Остин. Что побудило Вас писать, что Вы предпочли бы стать автором „Гордости и предубеждения“, а не автором „Томаса Джонса“ или романов Скотта?.. Я прочла „Гордость и предубеждение“, и что я нашла там? Точное воспроизведение обыденных лиц, ухоженные сады с подметенными дорожками и нежными цветами. Но ни одного яркого образа! Ни одного дикого ландшафта. Там нет свежего воздуха, голубых, суровых скал. Мне не хотелось бы жить среди этих дам в их элегантных, но огражденных от жизни домах... Вы советуете мне запомнить, что Остин не поэтесса, не обладает ни „чувством“, ни красноречием, и предлагает „научиться признавать в ней величайшего художника, величайшего создателя человеческих характеров“... Но может ли быть великий художник глух к поэзии? Если Остин, как Вы говорите, лишена поэзии, то она, возможно, разумна, реалистична, может быть, более реалистична, чем правдива, но великой она быть не может». Переведя эти суждения и оценки из плана эмоционального в план теоретический, можно сказать, что Шарлотта Бронте отстаивала право писателя на преувеличения, предпочитала власти реальности власть воображения. По этой логике она, конечно, должна была бы предпочесть Диккенса Теккерее, но в действительности все оказалось наоборот. Не Диккенса, но Теккерее она считала первым английским писателем, его портрет висел в ее доме в Хоурте; ему, как уже говорилось, она посвятила второе издание «Джейн Эйр». Ее привлекали интеллектуальность прозы Теккерее, сдержанность, которую он проявлял в изображении чувства, лаконичность и точность стиля. Иными словами, ее влекли черты, которые у нее самой как у художника отсутствовали. Конечно, во всем этом есть парадокс: не любила Остин, но боготворила Теккерее, хотя Остин и Теккерей очень близки. Объективно была ближе к Диккенсу, его школе, субъективно ощущала себя ученицей Теккерее. Парадоксы иногда, оттого что они парадоксы, лучше помогают увидеть суть явления. И может быть, не столь нелепо утверждение, что психологическая проза, мастером которой был зрелый Теккерей, автор «Ньюкомов», «Виргинцев», немалым обязана романтику – Шарлотте Бронте. Наверное, романтическое начало «раскрепостило» Шарлотту Бронте и «помогло» ей изобразить в романах бурную, а подчас и излишне откровенную, как полагали некоторые блюстители морали ее времени, жизнь сердца.

Хотя Шарлотта Бронте в запале и возражала Генри Льюису, призывавшему ее основываться на собственном опыте при создании образов, на практике, возможно не отдавая себе в этом отчета, она следовала его советам. Опыт несчастливой, трудного детства в доме матери, в школе, где было не только голодно и холодно, но и по-настоящему страшно, где у нее на глазах гибли сестры и близкие подруги, позволил Шарлотте Бронте создать убедительные, волнующие в своей правдивости образы детей. И, даже раскрывая такую романтическую тему, как любовь, страсть, она если сама не шла по пути реалистической эстетики, то уже наметила путь для будущих художников-реалистов. Вот что писала последовательница Генри Льюиса Джордж Элиот о Шарлотте Бронте, которой, по ее собственным словам, была многим обязана:

«Я только что вернулась к реальному миру, меня окружающему. Читала „Городок“ – еще более удивительную книгу, чем „Джейн Эйр“. Сила ее почти сверхъестественная».

Творчество Шарлотты Бронте – это и образец того, что может произойти с романтизмом, когда он должен существовать на пуританской почве. Ей, дочери сельского пастора, претила яркая, ослепительная красота. Возможно, поэтому все ее писанные красавицы – Бланш Ингрэм, Джорджиана Рид, Джиневра Фэншоу – лишены сердца. Ей ближе и понятнее внешняя невзрачность, которая скрывает красоту души, и ее настоящие героини – гувернантки, учительницы – обитают в самых что ни на есть неромантических слоях общества. С другой стороны, морализаторский дух тоже оказался усилен именно романтизмом, с его приверженностью к контрастам, противопоставлениям. По природе своего нравственного чувства Шарлотта Бронте дидактик: каждый характер, каждый жизненный эпизод, каждый поступок, важный или малозначительный, видится ею как арена борьбы греха и добродетели. Она – эдакая Жанна д'Арк, презирующая авторитеты, не боящаяся косых взглядов великосветских дам, смело пеняющая самому Теккерю, который, с ее точки зрения, слишком светский, слишком суетный и тщеславный.

«Помню трепетное, хрупкое создание, маленькую ладонь, большие честные глаза. Пожалуй, главной чертой ее характера была пылкая честность. Помнится, она дважды призвала меня к ответу за то, в чем усмотрела отступление от принципов... Хоть лондонская жизнь была ей внове, она вошла в нее, ничуть не поступившись своим независимым, неукротимым духом, она творила суд над современниками, с особой чуткостью улавливая в них заносчивость и фальшь. Она мне показалась очень чистым, возвышенным и благородным человеком. В ее душе всегда жило великое, святое уважение к правде и справедливости».

Такой Шарлотта Бронте запомнилась Теккерю, и такой замечательный в своей правде, искренности и щемящей грусти образ писательницы он нарисовал на страницах «Последнего очерка» – по сути дела, некролога, который он написал на смерть автора «Джейн Эйр», потрясенный ее ранней, такой безжалостной кончиной.

Может быть, о Шарлотте Бронте думал Л. Н. Толстой, когда писал: «В художественном произведении главное душа автора... Женщина нет-нет да и прорвется, выскажет самое тайное души, оно-то и нужно. Женщина не умеет скрывать, а мужчина выучится литературным приемам, и его уж не увидишь из-за его манеры».

Е. Генцева

Глава I. Левиты¹

За последние годы на севере Англии появилось великое множество младших священников; особенно посчастливилось нашей гористой местности: теперь почти у каждого приходского священника есть один помощник, а то и больше. Надо полагать, что они сделают немало добра, ибо они молоды и энергичны. Но мы собираемся вести повествование не о последних годах, мы обратимся к началу нашего столетия; последние годы подернуты серым налетом, выжжены солнцем и бесплодны; забудем же о знойном полудне, погрузимся в сладостное забытие, в легкую дремоту и в сновидениях увидим рассвет.

Читатель, если по этому вступлению ты предполагаешь, что перед тобой развернется романтическое повествование, – ты ошибаешься. Ты ждешь поэзии и лирических раздумий? Мелодрамы, пылких чувств и сильных страстей? Не рассчитывай увидеть так много, тебе придется довольствоваться кое-чем более скромным. Перед тобой предстанет простая будничная жизнь во всей ее неприкрашенной правде, нечто столь же далекое от романтики, как понедельник, когда труженик просыпается с мыслью, что нужно скорее вставать и приниматься за работу. Возможно, в середине или в конце обеда тебе подадут что-нибудь повкуснее, но первое блюдо будет настолько постным, что и католик – и даже англо-католик – не согрешил бы, отведав его в Страстную пятницу: холодная чечевица с уксусом без масла, пресный хлеб с горькими травами и ни куска жареной баранины.

Итак, за последние годы север Англии наводнили младшие священники, но в тысяча восемьсот одиннадцатом или двенадцатом году такого наплыва не было: младших священников тогда насчитывалось немного; не было еще ни приходской кассы вспомоществования, ни благотворительных обществ, способных позаботиться об одряхлевших приходских священниках и предоставить им возможность нанять молодого деятельного собрата, только что окончившего Оксфорд или Кембридж. Нынешних преемников апостолов, учеников доктора Пьюзи² и членов коллегии миссионеров, в те дни еще пестовали под теплыми одеяльцами и няни подвергали их животворному обряду омовения в умывальном тазу. Увидев их тогда, вы не подумали бы, что накрахмаленная пышная оборка чепчика обрамляет чело будущего носителя духовного сана, predeterminedенного свыше преемника св. Павла, св. Петра или св. Иоанна. И вы бы, уж конечно, не разглядели в складках их детских ночных рубашонок белый стихарь, в котором им предстояло впоследствии сурово наставлять своих прихожан и повергать в полное изумление старомодного священника, – этот стихарь так бурно колыхался теперь над кафедрой, тогда как прежде он лишь чуть шевелился внизу.

Однако и в те скудные времена помощники священников все же существовали, но лишь кое-где, как редкостные растения. Впрочем, один благословенный округ Йоркширского графства мог похвастать тремя такими жезлами Аарона³, которые цвели пышным цветом на небольшой площади в каких-нибудь двадцать квадратных миль. Сейчас ты их увидишь, читатель. Войди в уютный домик на окраине города Уинбери и загляни в маленькую комнатку, – вот они обедают. Позволь тебе их представить: мистер Донн, помощник священника из Уинбери; мистер Мелоун, помощник священника из Брайерфилда; мистер Суитинг, помощник священника из Наннли. Владелец этого домика – некий Джон Гейл, небогатый суконщик, у которого квартирует мистер Донн, любезно пригласивший сегодня своих собратьев отобедать у него.

¹ Левиты – древнееврейские священнослужители; позже из числа левитов набирались храмовые прислужники. (*Здесь и далее прим. ред.*)

² Пьюзи Эдвард Боувер (1800–1882) – английский богослов, один из лидеров так называемого оксфордского движения – католизирующего направления в Англиканской церкви.

³ Согласно библейскому тексту, Аарон победил в споре между начальниками двенадцати колен Израилевых о том, кто будет первосвященником, так как из двенадцати жезлов, оставленных на ночь в храме, лишь жезл Аарона расцвел.

Подсядем к ним и мы, посмотрим на них, послушаем их беседу. Сейчас они поглощены обедом; а мы тем временем немного посудачим.

Джентльмены эти в расцвете молодости; от них веет силой этого счастливого возраста, силой, которую старые унылые священники пытаются направить на стезю христианского долга, убеждая своих молодых помощников почаще навещать больных и усердно надзирать за приходскими школами. Но молодым левитам такие скучные дела не по душе: они предпочитают расточать свою кипучую энергию в особой деятельности, – казалось бы, столь же утомительно однообразной, как труд ткача, но доставляющей им немало радости, немало приятных минут. Я имею в виду их непрерывное хождение в гости друг к другу, какой-то замкнутый круг или, вернее, треугольник визитов, в любое время года: и зимой, и весной, и летом, и осенью. Во всякую погоду, не страшась ни снега, ни града, ни ветра, ни дождя, ни слякоти, ни пыли, они с непостижимым рвением ходят один к другому то пообедать, то выпить чаю, то поужинать. Что влечет их друг к другу, трудно сказать; во всяком случае, не дружеские чувства – их встречи обычно кончаются ссорой; не религия – о ней они никогда не говорят; вопросы богословия еще изредка занимают их умы, но они никогда не касаются благочестия; и не чревоугодие – каждый из них и у себя дома мог бы съесть столь же добрый кусок мяса, такой же пудинг, столь же поджаристые гренки, выпить столь же крепкого чаю. По мнению миссис Гейл, миссис Хог и миссис Уипп – квартирных хозяек, – «это делается только для того, чтобы доставить людям побольше хлопот». Под «людьми» эти дамы подразумевают, конечно, себя, да и нельзя не согласиться, что постоянные нашествия гостей хлопот доставляют немало.

Как уже было упомянуто, мистер Донн и его гости сидят за обедом; миссис Гейл им прислуживает, но в глазах у нее сверкает отблеск жаркого кухонного огня. Она находит, что за последнее время ее жилец злоупотребляет своим правом приглашать к столу друзей без дополнительной оплаты, о чем была договоренность при найме квартиры. Сегодня еще только четверг, однако уже в понедельник к завтраку явился мистер Мелоун, помощник священника из Брайерфилда, и остался к обеду; во вторник тот же мистер Мелоун вместе с мистером Суитингом из Наннли зашли выпить по чашке чаю, потом остались ужинать и переночевали на запасных кроватях, а в среду утром соизволили и позавтракать; и вот нынче, в четверг, оба они снова тут как тут! Обедают, да наверняка еще и проторчат целый вечер. «*C'en est trop*»⁴, – сказала бы она, если бы говорила по-французски.

Мистер Суитинг мелко режет ростбиф и жалуется, что он жесткий как подошва; мистер Донн сетует на слабое пиво. Вот это хуже всего! Будь они учтивы, хозяйке было бы не так обидно; если бы ее угощение пришлось им по вкусу, она бы им многое простила, но «молодые священники слишком уж заносятся и на всех смотрят сверху вниз; они дают ей понять, что она им не ровня», и позволяют себе дерзить ей только потому, что она не держит служанки и ведет хозяйство сама, по примеру своей покойной матери; вдобавок они постоянно бранят йоркширские обычаи и йоркширцев, а это, по мнению миссис Гейл, говорит о том, что они не настоящие джентльмены, во всяком случае, не благородного происхождения. «Разве сравнишь этих юнцов со старыми священниками! Те умеют себя держать и одинаково обходительны с людьми всякого звания».

«Хле-ба!» – крикнул мистер Мелоун, и его выговор, хотя он и произнес всего лишь двусложное слово, тут же выдал уроженца края трилистника и картофеля⁵. Этот священник особенно неприятен хозяйке, однако он внушает ей трепет – так он велик ростом и широк в кости! По всему его обличью сразу видно, что это истый ирландец, хотя и не «милезианского»⁶ типа, подобно Даниелю О'Коннелу⁷; его скуластое, словно у североамериканского

⁴ Это уж слишком (фр.).

⁵ Речь идет об Ирландии, национальной эмблемой которой является трилистник.

⁶ «Милезианский» – здесь в знач. древнеирландский: милезианцы – мифические предки современных ирландцев.

индейца, лицо характерно лишь для известного слоя мелкопоместных ирландских дворян, у которых на лицах застыло высокомерно-презрительное выражение, более подходящее рабовладельцам, чем помещикам, имеющим дело со свободными крестьянами. Отец Мелоуна считал себя джентльменом; почти нищий, кругом в долгах, а надменности хоть отбавляй; таков же и его отпрыск.

Миссис Гейл поставила хлеб на стол.

– Нарезь его, женщина, – приказал гость.

И «женщина» повиновалась. Дай она себе в эту минуту волю, она, кажется, заодно отрезала бы и голову священнику; такой повелительный тон возмущил до глубины души гордую уроженку Йоркшира.

Священники, обладая изрядным аппетитом, съели изрядное количество «жесткого как подошва» жаркого и поглотили немало «слабого» пива; йоркширский пудинг и две миски овощей были уничтожены мгновенно, как листва, на которую налетела саранча; сыру также было воздано должное, а сладкий пирог вмиг исчез бесследно, как видение! И только на кухне ему была пропета отходная Авраамом, сыном и наследником миссис Гейл, мальшом шести лет; он рассчитывал, что и ему кое-что перепадет, и при виде пустого блюда в руках матери отчаянно заревел.

Тем временем священники потягивали вино, правда, без особого удовольствия, ибо оно не отличалось высоким качеством. Что и говорить, Мелоун попросту предпочел бы виски, но Донн как истый англичанин не держал у себя такого напитка. Потягивая портвейн, они спорили; спорили не о политике, не о философии, не о литературе – эти темы никогда их не интересовали – и даже не о богословии, практическом или догматическом; нет, они обсуждали незначительные частности церковного устава, мелочи, которые всем, кроме них самих, показались бы пустыми, как мыльные пузыри. Мистер Мелоун ухитрился осушить два стакана, в то время как его друзья выпили по одному, и настроение его заметно поднималось: он развешился на свой лад – стал держать себя вызывающе, заносчивым тоном говорил дерзости и покатывался со смеху от собственного остроумия.

Каждый из сотрапезников по очереди становился мишенью для его остроумия. У Мелоуна всегда был наготове запас плоских шуточек, которыми он угощал своих приятелей при дружеских встречах, не пытаясь быть разнообразным; это и не требовалось, ибо сам он не находил себя скучным, а о том, что думают другие, нимало не заботился. Он высказался насчет чрезмерной худобы и вздернутого носа мистера Донна, поехидничал, критикуя некий весьма потертый шоколадно-коричневый сюртук, к которому сей джентльмен питал особое пристрастие во всех случаях жизни и при любой погоде, посмеялся над выговором приятеля и вульгарными словечками, которыми тот пересыпал свою речь, что, безусловно, придавало ей своеобразное «изящество» и колоритность.

Суитинга он попрекнул тщедушным видом, – тот рядом с верзилой Мелоуном и в самом деле казался чуть ли не ребенком, – посмеялся над его музыкальными талантами, ибо Суитинг играл на флейте и пел гимны ангельским голосом (по мнению некоторых его юных прихожанок), назвал его «дамским угодником» и в довершение всего принялся ехидничать насчет нежной привязанности юноши к матушке и сестрицам, о которых тот имел неосторожность говорить в присутствии ирландца, чье черствое сердце начисто лишено было родственных чувств.

Жертвы воспринимали его нападки каждый по-своему: Донн противопоставлял им броню самодовольной тупости и невозмутимой важности, заменявшей ему чувство собственного достоинства; Суитинг – равнодушие покладистого, веселого юнца, который о поддержании достоинства вовсе не заботился.

⁷ О'Коннел Даниель (1775–1847) – ирландский государственный деятель.

Но когда насмешки стали чересчур колкими, жертвы объединились и попытались отплатить обидчику той же монетой. Они полюбопытствовали, сколько мальчишек кричали ему сегодня вслед: «Питер-ирландец!» (Мелоуна звали Питер – преподобный Питер Огест Мелоун); поинтересовались, не из Ирландии ли идет странный обычай – навещать своих прихожан с заряженными пистолетами в карманах и с дубинкой в руках; предложили разъяснить им значение слов: покр-ров, твер-рдость, р-руль, гр-роза (так, раскатывая «р», произносил их мистер Мелоун), – словом, пускали в ход все свое природное остроумие, чтобы побольше его уколоть.

Разумеется, ни к чему хорошему это не привело. Мелоун, не отличавшийся ни благодушием, ни спокойным нравом, вышел из себя. Он кричал, размахивая руками, а Донн и Суитинг хохотали. Он вопил, что они саксы и снобы, и его пронзительный кельтский голос звенел на самых высоких нотах; они в ответ напоминали ему, что он уроженец завоеванной страны. От имени своей «р-родины» он грозил им восстанием, изливал накипевшую в нем ненависть к господству Англии; они тыкали ему в глаза лохмотья, нищету, болезни его родной Ирландии. В маленькой гостиной поднялся невообразимый шум. Казалось, такая ядовитая перебранка неминуемо должна закончиться дракой. Было удивительно, что хозяева не пугаются, не посылают за констеблем для водворения порядка; но они уже привыкли к подобного рода бурным спорам, знали, что у священников ни обед, ни чай не обходились без состязаний в красноречии и что это ничем не грозит; знали также, что от их ссор больше шума, чем вреда, и что в каких бы отношениях ни расстались друзья сегодня вечером, завтра утром они встретятся как ни в чем не бывало.

Итак, почтенные супруги сидели у кухонного очага, прислушиваясь к громким ударам кулака Мелоуна по обеденному столу красного дерева, к звону подсакивающих стаканов и графина, к насмешливому хохоту двух союзников-англичан и несвязным выкрикам их одинокого противника-ирландца, как вдруг на крыльце послышались чьи-то шаги и настойчиво застучал дверной молоток.

Мистер Гейл пошел отворять.

– Кто это у вас шумит наверху? – властно спросил чей-то гнусавый голос.

– Никак это мистер Хелстоун? В темноте я вас не сразу и разглядел... теперь так рано темнеет. Милости просим, сэр, входите.

– Сначала мне нужно знать, стоит ли входить. Кто у вас там?

– Молодые священники, сэр.

– Как, все трое?

– Да, сэр.

– Обедали здесь?

– Да, сэр.

– Отлично.

С этими словами в дом вошел пожилой мужчина, весь в черном. Он пересек кухню, отворил внутреннюю дверь и, подняв голову, прислушался. Да и было что послушать – спорщики, как нарочно, шумели пуще прежнего.

Посетитель буркнул что-то себе под нос; затем, обратясь к мистеру Гейлу, спросил:

– И часто они у вас этак развлекаются?

Мистер Гейл, бывший церковный староста, всегда проявлял снисходительность к особам духовного звания.

– Молоды еще, сэр, сами знаете, – сказал он примирительно.

– Молоды! Проучить их надо! Негодники, бездельники! Ведь если бы вы были диссидентом⁸, а не добрым сыном Англиканской церкви, они бы все равно вели себя так же, они бы себя позорили... но уж я...

Не закончив фразы, он вышел из кухни, затворив за собой дверь, и поднялся по лестнице. На верхней площадке он снова остановился и послушал. Затем без стука распахнул дверь комнаты и остановился на пороге.

Все трое смолкли, оторопело уставясь на него; неожиданный гость тоже замер на месте. Это был человек невысокого роста, но с очень прямым станом и широкими плечами, а его маленькая головка с острыми глазами и крючковатым носом делала его похожим на ястреба; не сочтя нужным снять или хоть приподнять свою широкополую шляпу, он скрестил руки на груди и, не двигаясь с места, спокойно, свысока разглядывал своих молодых приятелей, если только это были его приятели.

– Что я слышу! – начал он, произнося слова уже не гнусавым, а глубоким раскатистым голосом. – Что я слышу? Уж не повторилось ли чудо Духова дня? Уж не снизошли ли с небес разделяющиеся языки? Но где они? Только что этот шум наполнял весь дом. Я различил семнадцать наречий сразу: парфяне, и мидяне, и еламиты, жители Месопотамии, Иудеи и Каппадокии, Понта и Асии, Фригии и Памфилии, Египта и частей Ливии, прилежащих к Кириее, и пришедшие из Рима, иудеи и прозелиты, критяне и аравитяне – все они, по-видимому, были здесь, в этой комнате, две минуты тому назад.

– Извините, мистер Хелстоун! – начал Донн. – Не присядете ли вы, сэр, не налить ли вам вина?

На это учтивое предложение ответа не последовало; ястреб в черном одеянии продолжал:

– Что я толкую о даре языков! Дар, как бы не так! Я перепутал главы, и книги, и Заветы! Новый Завет с Ветхим, Деяния апостолов с книгой Бытия, Иерусалим с долиной Сенаар. Нет, тот шум, что буквально оглушил меня, это не дар языков, а вавилонское столпотворение. Это вы-то апостолы? Вы трое? Разумеется, нет. Три самонадеянных вавилонских каменщика – вот вы кто!

– Уверяю вас, сэр, мы просто болтали за стаканом вина после дружеской трапезы. Ну и взялись разносить диссидентов...

– Диссидентов, вот оно что! И Мелоун тоже разносил диссидентов? А мне-то показалось, что он разносит своих братьев. Вы просто ругали друг друга. И вы трое шумели ничуть не меньше, чем наш портной Моисей Барраклу вкупе со своими слушателями, когда они войдут в раж в методистской молельне. А ведь, наверное, все из-за тебя, Мелоун?

– Из-за меня? Что вы, сэр!

– Конечно из-за тебя. До твоего приезда и Донн, и Суитинг вели себя смирно, и опять присмирят, если ты уедешь. Тебе бы следовало, отправляясь к нам, оставить свои ирландские привычки по ту сторону пролива⁹; быть может, там, среди болот и в диких горах Коннота¹⁰, повадки дублинского студента сходят священнику с рук, но здесь, в благопристойном английском приходе, они неуместны. Вы все позорите и самих себя, и, что еще хуже, церковь, скромными служителями которой вы являетесь.

В обращении маленького пожилого джентльмена с молодыми священниками, в том, как он их отчитывал, сквозила известная властность, – может быть, и неуместная при данных обстоятельствах. Мистер Хелстоун, прямой, как шест, с острым взглядом ястреба, несмотря на свою одежду – черный сюртук, широкополую шляпу и гетры, – больше походил на старого служаку-офицера, распекающего подчиненных, чем на почтенного священника, увеще-

⁸ Диссиденты, или нонконформисты, – члены протестантских групп, противостоящих Англиканской церкви.

⁹ Имеется в виду Северный пролив, отделяющий Ирландию от Северной Англии и Шотландии.

¹⁰ Коннот – одна из главных провинций Ирландии.

вающего своих духовных сынов. Евангельская доброта, апостольская кротость не наложили своего отпечатка на это смуглое энергичное лицо; его изваяла твердость, раздумье проложило на нем свои борозды.

– Мне только что повстречался Саплхью, – продолжал он. – Невзирая на ненастье и поздний час, он брел по болотам читать проповедь сектантской общине Милдина. Как я уже упоминал, я слышал Барраклу, проповедовавшего в сектантской молельне, и голос его напоминал рев разъяренного быка; а вас, джентльмены, я застаю в полном бездействии, вы прохладаетесь за полпинтой дрянного портвейна и пререкаетесь, подобно сварливым кумушкам. И неудивительно, что Саплхью за один день смог окрестить шестнадцать новообращенных взрослых, как это случилось две недели тому назад, или что негодяй и лицемер Барраклу сумел привлечь в свою молельню всех этих девушек-ткачих, явившихся в уборе из лент и цветов, чтобы убедиться, насколько его пальцы тверже края деревянной купели. Стоит лишь представить вас самим себе – и вы частенько служите в пустой церкви и произносите свои сухие проповеди лишь для причетника, органиста и церковного сторожа. Но довольно об этом. Сейчас мне нужен Мелоун. У меня к тебе дело, вояка!

– Какое? – недовольно спросил Мелоун. – Для похорон как будто поздновато...

– Ты сейчас вооружен?

– Конечно! Я всегда вооружен... – И он вытянул свои могучие руки и ноги.

– Не шути! Я говорю о настоящем оружии!

– Я всегда ношу при себе пистолеты, которые вы мне дали; даже ночью они лежат наготове у моей постели. Есть у меня и палка.

– Отлично. Можешь ты сейчас отправиться на фабрику Мура?

– А что там стряслось?

– Пока ничего, да, может, ничего и не будет, но Мур там совсем один. Всех надежных рабочих он послал в Стилбро, а с ним остались только две женщины. Узнай его «дружки», что путь свободен, они не преминули бы его навестить.

– Но и я не принадлежу к числу его друзей, сэр; что он мне?

– Ого, Мелоун, ты трусишь?

– Вы, конечно, шутите. Если бы я мог предположить, что там и вправду завяжется потасовка, я бы пошел. Но ради удовольствия провести вечер в обществе Мура – нелюдимо, странного и чуждого мне человека – я не сделаю и шагу.

– Потасовка может вспыхнуть. Конечно, настоящего бунта не будет, но вряд ли эта ночь пройдет спокойно. Ты ведь знаешь, что Мур решил во что бы то ни стало установить новые машины и сегодня вечером ждет из Стилбро два фургона с ткацкими и стригальными станками. Старший мастер Скотт и несколько надежных людей уже отправились за ними.

– Они доставят их в целостности и сохранности, сэр.

– Мур тоже в этом уверен и считает, что никто ему не нужен. И все-таки на всякий случай не мешает кому-нибудь быть поблизости, хотя бы в качестве свидетеля. Мур слишком неосторожен: не закрывает ставен в конторе, поздно вечером бродит совсем один по склону лощины или среди кустов возле поместья Филдхед, словно он неуязвим, словно он у нас всеобщий любимец или заколдован от ненависти, которую сам снискал. Печальная судьба Пирсона и Армитеджа – в одного стреляли в его собственном доме, а в другого на пустоши – не служит ему предостережением!

– А не мешало бы ему вести себя поосмотрительнее: да он, наверное, и поостерегся бы, доведись ему услышать то, что я услышал на днях, – вмешался Суитинг.

– Что ты слышал, Дэви?

– Вы знаете Майка Хартли, сэр?

– Ткача-антиномиста? Ну конечно.

– Так вот, после продолжительного запоя Майк обычно ходит в Наннли, к мистеру Холлу, высказывает ему свое мнение о его проповедях, порицает за приверженность к доктрине добрых дел и заявляет ему, что как сам мистер Холл, так и все его прихожане пребывают во мраке кромешном.

– Все это так, но при чем здесь Мур?

– Этот Майк не только антиномист¹¹, сэр, но к тому же убежденный якобинец и левеллер¹².

– Это я знаю. Когда он основательно напьется, он только и думает что о цареубийствах. Майк довольно сведущ в истории, и любопытно послушать, как он перечисляет тиранов, которые «не ушли от кровавого возмездия». Он прямо-таки бредит убийствами коронованных особ и покушениями политического характера. Мне уже намекали, что у него какой-то странный интерес к Муру. Ты это имеешь в виду, Суитинг?

– Вы угадали, сэр. Мистер Холл думает, что у Майка нет личной ненависти к Муру; Майк и сам признает, что он не прочь с ним поговорить, только он вбил себе в голову, что участь Мура должна послужить уроком для других. Совсем недавно он отзывался о Муре с похвалой, как об умнейшем фабриканте Йоркшира, и доказывал, что поэтому-то Мура и следует избрать искупительной жертвой. Не кажется ли вам, сэр, что он сумасшедший, этот Хартли? – просто душно закончил Суитинг.

– Кто его знает, Дэви; может быть, сумасшедший, может быть, плут, а скорее всего – и то и другое.

– Он уверяет, что у него бывают видения.

– О да! Что касается видений, это второй Иезекииль или Даниил¹³. В прошлую пятницу он пришел ко мне, когда я уже собирался лечь спать, и поведал об одном видении, явившемся ему днем в наннлийском парке.

– Кого же он увидел, сэр? – снова спросил Суитинг.

– О, Дэви, на твоём черепе красуется большая шишка любопытства¹⁴, а вот Мелоун, как видно, ее лишен: ни видения, ни убийства его не интересуют. Взгляни-ка на этого рослого, ко всему безучастного Сафа¹⁵.

– Саф? А кто был Саф?

– Ну конечно же, я так и думал. Постарайся узнать это из Библии, – правда, мне и самому известно только его имя и колено, но его образ живо представляется мне еще с детского возраста. Мне кажется, он был честен, но неуклюж и несчастлив, этот Саф. Он погиб при городе Гоб от руки Сивхая.

– Ну а видение, сэр?

– Подожди, сейчас услышишь. Донн уже покусывает ногти, а Мелоун зевает, так что я расскажу это одному тебе. Майк сейчас, к несчастью, без работы, как и многие другие, и мистер Грейм, управляющий сэра Филиппа Наннли, поручил ему обнести поместье живой изгородью; и вот, рассказывал мне Майк, когда он работал однажды перед самыми сумерками, ему почудились звуки горна, флейты и трубы, словно далеко в лесной чаще играл оркестр; удивленный, он огляделся и увидел, что среди деревьев мелькают какие-то существа, красные, как мак, и белые, как яблоневый цвет; лес кишел ими; всё прибывая, они проникали в помещичий сад, и тут он понял, что это солдаты, тысячи и тысячи солдат, но шума от них было не больше, чем от

¹¹ Антиномист – последователь антиномизма, тенденции христианской мысли, предполагающей пренебрежение заповедями Ветхого Завета.

¹² Левеллеры (от англ. levellers – уравниатели) – радикальная партия времен Английской буржуазной революции, выступавшая против монархии и аристократии.

¹³ Иезекииль и Даниил – ветхозаветные пророки.

¹⁴ Намек на модную в то время френологию – науку о связи психических особенностей человека и формы его черепа.

¹⁵ Саф – библейский воин огромного роста.

мошек, роящихся летним вечером. В стройном порядке они промаршировали полк за полком по парку. Майк последовал за ними и дошел до общинного луга; издали все еще доносилась тихая музыка. На лугу солдаты начали перестраиваться, повинувшись команде человека в алом одеянии, стоявшего в самой середине. Строй растянулся на пространстве свыше пятидесяти акров; с полчаса Майк наблюдал за ними; затем они неслышно удалились; за все время он не уловил ни звука их голосов, ни поступи – ничего, кроме музыки – торжественного марша.

– Куда же они направились?

– К Брайерфилду; Майк пошел было за ними, но, когда они проходили мимо Филдхеда, столб серовато-синего дыма, словно от артиллерийского залпа, бесшумно разостлался над полями, дорогой и лугом и докатился до самых его ног. Когда дым рассеялся, Майк поглядел по сторонам, ища солдат, но их больше не было видно. Майк, как и подобает мудрому Даниилу, не только поведал нам о своем видении, но и дал ему толкование: по его мнению, оно предвещает кровопролитие и гражданские распри.

– И вы этому верите, сэр? – спросил Суитинг.

– А ты, Дэви?.. Однако, Мелоун, ты все еще здесь?

– Странно, сэр, что вы сами не остались у Мура. Такие вещи вам по душе.

– Я бы так и сделал, но, к сожалению, я пригласил Болтби поужинать со мной после заседания Библейского общества в Наннли. Я обещал Муру прислать тебя, за что, к слову сказать, он меня не поблагодарил, он предпочел бы мое общество. Но если что-нибудь случится, пусть ударят в фабричный колокол, и я поспешу к вам. Ступай же! А впрочем, – он повернулся к Суитингу и Донну, – не пожелают ли заменить тебя Дэви или Джозеф Донн? Что скажете, джентльмены? Поручение почетное, связанное с известным риском, – для вас не тайна, что в округе беспокойно, что население ненавидит и самого Мура, и его фабрику, и его машины. Я не сомневаюсь, что у вас в груди бьются сердца, полные рыцарских чувств и благородной отваги. Может быть, я слишком пристрастен к моему любимцу Питеру; пусть героем станет наш маленький Дэвид или наш непорочный Джозеф. А ты, Мелоун, оказывается, всего лишь огромный неуклюжий Саул¹⁶, тебе остается только вручить свои доспехи более достойным: вынимай же свои пистолеты, подай сюда свою палку – вон она в углу.

С многозначительной усмешкой Мелоун вынул из кармана пистолеты и протянул их своим собратям. Однако те не спешили завладеть ими; напротив, оба джентльмена с похвальной скромностью отступили на шаг.

– Я никогда не беру в руки оружия, – заявил Донн, – даже не прикасаюсь к нему.

– А я едва знаком с Муром, – пробормотал Суитинг.

– Если ты никогда не брал в руки оружия, не мешает коснуться его, чтобы знать, каково оно на ощупь, о великий сатрап Египта. Что же до нежного музыканта, он, по-видимому, намерен встретить филистимлян¹⁷ с одной только флейтой в руках. Питер, подай им шляпы, они оба готовы отправиться в путь.

– Нет, сэр, нет, мистер Хелстоун, моя мать не одобрила бы этого, – жалобно произнес Суитинг.

– Я придерживаюсь правила никогда не вмешиваться в подобного рода дела, – заметил Донн.

По лицу Хелстоуна скользнула презрительная усмешка, а Мелоун раскатисто захохотал; он положил пистолеты в карман, взял шляпу и палку и, заявив, что «сегодня был бы не прочь ввязаться в хорошую потасовку и даже хотел бы, чтобы компания грязных сукновалов нагряз-

¹⁶ Саул – первый царь Израиля. Для поединка с Голиафом предложил Давиду свои тяжелые доспехи, но тот отказался: они лишь мешали ему.

¹⁷ Филистимляне – соседний с израильянами народ, беспрестанно с ними воевавший.

нула этой ночью к Муру», вышел из комнаты, сбежал по лестнице, прыгая через две-три ступеньки, и захлопнул за собой дверь с такой силой, что весь дом содрогнулся.

Глава II. Фургоны

На дворе была непроглядная тьма; звезды и луна скрылись за свинцовыми тучами, – вернее, свинцово-серыми они выглядели днем, а теперь превратились в непроницаемо-черные. Но Мелоун вообще не склонен был предаваться созерцанию природы и обычно не замечал ее. Когда в переменчивый апрельский день случалось ему проходить по многу миль, он не видел милых шалостей неба и земли, не замечал, как солнечный луч целует вершины холмов и те благодарно улыбаются, окутанные зеленоватым сиянием, или как лохматая туча, прикрыв их вершины своими космами, орошает их слезами. Ему и в голову не приходило сравнивать небо этого ненастного вечера – окутанный тучами свод, непроглядно-черный, кроме того краешка на востоке, где печи чугунолитейных заводов Стилбро отбрасывали бледное, дрожащее зарево, – с безоблачным небосводом ясных морозных ночей. Он не задумывался над тем, куда же девались созвездия и планеты, не сожалел о том, что иссиня-черный воздушный океан, с рассыпанными по нему серебристыми островками, невидим сейчас, застланный другим океаном – стихией более плотной и тяжелой. Он следовал своим путем, чуть подавшись вперед и сдвинув шляпу на затылок по ирландскому обычаю. «Топ-топ», – раздавались его шаги по шоссе, там, где дорога могла похвастать таким названием; «шлеп-шлеп», – по хлюпким колеям и слякоти, когда кончался булыжник. Взгляд его искал только путеводные вехи – шпиль церкви Брайерфилда, потом огни трактира. Когда же он поравнялся с ним и увидел свет, пробивавшийся сквозь неплотно задернутые занавеси, круглый, уставленный стаканами стол и компанию бражников на деревянных скамьях, он чуть было не поддался соблазну уклониться от своего пути. Мелоун с тоской подумал о стакане виски с водой; в другом месте он не замедлил бы удовлетворить свое желание, однако среди сотрапезников, пировавших на кухне, он заметил прихожан мистера Хелстоуна; все они его знали. И, тяжело вздохнув, он пошел дальше.

Вскоре Мелоун свернул с проезжей дороги и двинулся напрямик по ровным, пустынным полям, перепрыгивая кое-где через изгороди и плетни, что значительно сокращало расстояние до фабрики. На пути ему встретилось только одно здание, большое, казарменного типа, хоть и не совсем правильной формы: к высокой крыше, венчавшей длинный фасад, примыкала крыша пониже, с частым рядом дымовых труб; позади здания виднелись деревья. Весь дом тонул в темноте, ни одно окно не светилось; кругом царило безмолвие, слышно было только, как стекают струи дождя с карнизов да завывает ветер среди голых сучьев и труб.

В этом месте пологие поля обрывались крутым скатом: внизу лежала лощина, со dna которой доносилось журчание ручья. Невдалеке светился одинокий огонек, к нему-то и направился Мелоун.

Он подошел к невысокому домику, белевшему даже в густом мраке, и постучал в дверь; ему отворила румяная служанка; свеча, которую она держала в руке, осветила тесный коридор и узкую лестницу. Две двери, обитые темно-красным сукном, и красная ковровая дорожка на лестнице приятно оттеняли окрашенные в светлый тон стены и белизну пола; все здесь дышало свежестью и чистотой.

– Мистер Мур дома?

– Да, сэ,р, но здесь его нет.

– Нет? А где же он?

– На фабрике, в конторе.

Одна из дверей приотворилась, и женский голос спросил:

– Что там, Сара, – фургоны пришли?

И в дверях показалась женская головка. Возможно, то не была головка богини – этого нельзя было предположить хотя бы из-за папильоток над висками, но и головой Горгоны ее нельзя было бы назвать; однако Мелоун, очевидно, увидел в ней нечто устрашающее. При виде

этой особы наш великан пугливо отпрянул и, пробормотав: «Я пойду к нему», в полном смятении, под дождем поспешил по дорожке вдоль живой изгороди, пересек темный двор и очутился перед черной громадой фабрики.

Рабочий день уже окончился, люди разошлись, машины бездействовали; дверь была заперта. Мелоун обошел вокруг здания; на длинном закоптелом фасаде он высмотрел щелочку света и забарабанил в одну из дверей. Щелкнул ключ, и дверь отворилась.

– Это ты, Джо Скотт? Ну как с фургонами?

– Нет, это я. Меня послал к вам мистер Хелстоун.

– А-а, мистер Мелоун! – В голосе говорившего прозвучало легкое разочарование. Мгновение спустя хозяин дома вымолвил учтиво, хотя и несколько суховаато: – Входите, пожалуйста, мистер Мелоун. Мистер Хелстоун напрасно побеспокоил вас, я говорил ему, что в этом нет никакой надобности... да еще в такую погоду. Входите же.

Мелоун прошел за хозяином через темное помещение, в котором ничего нельзя было разглядеть, в ярко освещенную просторную комнату. В особенности светлой и веселой показалась она путнику, чьи глаза только что целый час напряженно всматривались в густой мрак ненастной ночи. Впрочем, только яркий огонь в камине да изящная лампа, разливавшая теплое сияние над столом, придавали некоторый уют этой совсем простой комнате. На дощатом полу не было ковра; три-четыре жестких стула, выкрашенные зеленой краской, словно перенесенные из фермерской кухни, конторка солидного, делового вида, упомянутый уже стол; на стенах, выкрашенных в серый цвет, чертежи строений и машин, планы разбивки садов – вот и вся обстановка.

Но какой бы ни была комната, она, очевидно, пришлась Мелоуну по вкусу. Сняв мокрый сюртук и шляпу, он пододвинул к камину один из неуклюжих стульев, уселся и протянул ноги к раскаленной докрасна каминной решетке.

– А вы тут уютно устроились, мистер Мур.

– Да. Но сестра была бы, наверное, рада вас повидать, – не пройти ли вам в дом?

– Ну что вы! Дамам лучше не мешать. Я ведь не дамский угодник. Не путаете ли вы меня, чего доброго, с моим другом Суитингом?

– Суитинг? Который же это? Тот, что в коричневом сюртуке, или другой, такой маленький?

– Маленький, тот, что в Наннли; поклонник всех девиц Сайкс, влюбленный во всех шестерых сразу, ха-ха!

– Мне кажется, всегда безопаснее увлекаться несколькими сразу, чем одной.

– Но он и влюблен в одну из них особенно сильно; мы с Донном однажды выпытали у него, кто его избранница в этом цветнике, и, как вы полагаете, кто?

– Дора, конечно, или Гарриет, – ответил Мур, усмехнувшись своим мыслям.

– Ха-ха! Вы догадливы! Но почему вы так думаете?

– Они самые рослые и красивые среди сестер; Дора к тому же самая дородная; мистер Суитинг, напротив того, мал ростом и тщедушен; ну а всем известно, что противоположности сходятся.

– Вы правы: он влюблен именно в Дору. Однако надеяться ему не на что, как по-вашему?

– А что у него есть, помимо жалованья?

Вопрос этот привел Мелоуна в неопикуемый восторг; минуты через три, насмеявшись вволю, он ответил:

– Что есть у Суитинга? У нашего Дэвида есть арфа или флейта, – впрочем, это все равно; у него есть часы накладного золота, такое же кольцо и такой же лорнет; вот и все, что есть у Суитинга.

– Да сможет ли он хотя бы одевать такую особу, как мисс Сайкс?

– Ха-ха! Это хорошо сказано! Не забуду спросить у него об этом при первой же встрече. Уж и подразню я его за самоуверенность! Но, вероятно, он рассчитывает, что Кристофер Сайкс даст за дочьрю хорошее приданое? Он как будто богат? У них такой большой дом.

– Да, он ведет крупные дела.

– Значит, он в самом деле богат?

– Значит, он весь свой капитал вкладывает в эти дела. Для него сейчас изъять деньги из оборота, чтобы дать их в приданое за дочерьми, так же безрассудно, как мне, скажем, снести свой домик и возвести на его развалинах величественное здание вроде Филдхеда.

– А знаете ли вы, что я слышал на днях?

– Нет; вероятно, что я и вправду замышляю что-нибудь в этом роде? Здешние жители способны на любую выдумку.

– Что вы собираетесь арендовать Филдхед – сейчас только проходил мимо этого мрачного места – и ввести туда хозяйкой одну из девиц Сайкс; короче говоря, что вы собираетесь жениться, ха-ха! Ну-с, докладывайте, кто же ваша избранница? Дора небось, – сами же сказали, что она красивее других.

– С той поры как я поселился в Брайерфилде, меня то и дело женят! В окрестностях, кажется, нет ни одной невесты, которую бы мне не сватали: то двух девиц Уинн – сначала черненькую, потом беленькую, то рыжую мисс Армитедж, то перезрелую Энн Пирсон. А теперь вы хотите обременить меня целым выводком девиц Сайкс. Откуда берутся эти толки – один Бог ведает. Я нигде не бываю, избегаю общества женщин столь же старательно, как и вы, мистер Мелоун; в Уинбери я езжу только затем, чтобы повидать Сайкса или Пирсона в их конторе, и говорим мы вовсе не о женитьбе, ибо головы наши полны забот, весьма далеких от сватовства и приданого. Сукно, которое некуда сбывать, рабочие руки, которые нечем занять, фабрики, которые приходится закрывать, неблагоприятное для нас стечение обстоятельств, которые мы бессильны изменить, – вот что действительно волнует нас... Где уж тут заниматься такими пустяками, как ухаживание за девушками.

– Я с вами согласен, Мур. Ничто так не противно мне, как брак; я подразумеваю пошлый, вульгарный брак, – брак только по сердечной склонности; двое нищих вступают в союз, скрепленный нелепыми узами любви, – какая чушь! Но выгодная партия, основанная на взаимном интересе и общности взглядов, – дело неплохое, как по-вашему?

– Пожалуй, – рассеянно отозвался Мур; тема эта, казалось, вовсе его не занимала.

Разговор оборвался. Некоторое время Мур сидел молча, с озабоченным видом глядя на пламя камина; вдруг он повернул голову и насторожился.

– Что это? – воскликнул он. – Вы слышали? Стук колес!

Встав с места, он подошел к окну, отворил его, прислушался и опять закрыл.

– Увы! Мне показалось, – заметил он. – Это только шум ветра или ручей, вздвувшийся от ливня, стремительно бежит по ложине. Я ожидал фургоны к шести часам; теперь же скоро девять.

– Вы в самом деле боитесь, что установка новых машин может оказаться опасной? – спросил Мелоун. – Хелстоун, кажется, в этом уверен.

– Только бы станки были доставлены в целости и стояли у меня на фабрике, и никакие разрушители машин мне уже не страшны; а если они наведаются сюда – получают по заслугам. Моя фабрика – это моя крепость.

– Что и говорить, низкие негодяи, – произнес Мелоун как бы в глубоком раздумье. – Мне даже хочется, чтобы они пожаловали сюда сегодня ночью; однако на дороге, когда я шел, все было спокойно и я не заметил ничего подозрительного.

– Но ваш путь лежал мимо трактира?

– Да!

– Там-то все спокойно. Угроза со стороны Стилбро.

– Вы все-таки ждете нападения?

– Громили же других, могут напасть и на меня. Разница только в одном: я намерен защищать свое дело, фабрику и машины, а большинство фабрикантов скованы страхом. Взять хотя бы того же Сайкса: когда эти бандиты сожгли его склад, а сукна сорвали с сушилен, искромсали и бросили среди поля, Сайкс и пальцем не пошевелил, чтобы разыскать негодяев; он держался робко, как кролик в зубах у хорька. Нет, я не таков.

– Хелстоун говорит, что все это – ваши кумиры; вы считаете Приказы Совета¹⁸ семью смертными грехами, Каслри – антихристом, а партию сторонников войны – его воинством.

– Ничего удивительного! Все эти Приказы разоряют меня; они создают препятствия на моем пути, не дают мне развернуть дело, разбивают все мои планы.

– Но вы же преуспеваете, вы богаты?

– Богат! Богат товаром, которому нет сбыта; загляните ко мне на склад, вы увидите, что он доверху завален грудями сукон. Рокс и Пирсон в таком же положении; Приказы Совета лишили нас нашего главного рынка – Америки.

У Мелоуна, казалось, не было охоты поддерживать такого рода беседу: он зевнул и начал постукивать каблуком о каблук.

– А при всем этом, – продолжал Мур (увлеченный своими мыслями, он не замечал, что гость его порядком скучает), – здесь, в Уинбери и в Брайерфилде, о тебе разносят нелепые слухи, без конца сватают тебе невест. Как будто в жизни и делать больше нечего, кроме как ухаживать за молодой девицей, потом повести ее к алтарю, совершить с ней свадебное путешествие и круг положенных визитов, а затем, очевидно, «плодиться и размножаться»... *Oh, que le diable emporte*¹⁹. – Он как-то сразу оборвал свою пылкую речь, затем добавил более спокойным тоном: – Впрочем, у женщин только и разговоров, только и дум что о браке; им невдомек, что мужчины заняты другим.

– Конечно. Да что нам до них, – отозвался Мелоун, он засвистел и огляделся вокруг, проявляя признаки нетерпения. На этот раз намек был понят хозяином.

– Мистер Мелоун, вам нужно подкрепиться после такой прогулки под дождем. Простите, что я столь негостеприимен.

– Нет, что вы! – возразил Мелоун.

Но по выражению его лица Мур понял, что угадал. Он поднялся и открыл шкаф.

– Я люблю, чтобы все необходимое было у меня под рукой, – сказал он. – Ни к чему на каждом шагу зависеть от женщин. Я часто провожу здесь вечер, ужинаю в одиночестве и ночью с Джо Скоттом на фабрике. Иногда я заменяю ночного сторожа: я мало сплю и не прочь тихой светлой ночью побродить с ружьем на плече часок-другой по лощине. Скажите, мистер Мелоун, сумеете ли вы поджарить баранью котлету?

– Еще бы... сотни раз проделывал это в колледже.

– Вот вам рашпер и котлеты. Вы знаете, их надо быстро переворачивать, тогда мясо останется сочным.

– Не беспокойтесь, все будет в порядке. Дайте мне, пожалуйста, нож с вилкой.

Священник загнул манжеты и с усердием принялся за дело. Хозяин поставил на стол тарелки, хлеб, бутылку с темной жидкостью и два бокала, затем достал из своего битком набитого тайничка небольшой медный котелок, налил в него воды из глиняного кувшина, стоявшего в углу, поставил на огонь возле шипящего рашпера, вынул лимоны, сахар, небольшую пуншевую чашу и принялся варить пунш. Стук в дверь отвлек его от этого занятия.

– Это вы, Сара?

¹⁸ Приказы Совета («Королевские приказы» 1807 года) запрещали нейтральным государствам вести морскую торговлю со странами, участвующими в континентальной блокаде Британских островов, и обязывали нейтральные суда заходить в британские порты для уплаты налогов и проверки места назначения грузов.

¹⁹ К черту все это (фр.).

– Да, сэ. Пожалуйте ужинать.

– Нет, сегодня я к вам не приду; я переночую на фабрике. Передайте хозяйке, чтобы ложилась спать, и запирайте дверь.

Он снова подошел к камину.

– Н-да, у вас тут хозяйство налажено, – одобрительно заметил Мелоун. Лицо его покраснело под стать горячим уголькам, над которыми он склонился, усердно переворачивая котлеты. – Вы человек независимый, не то что бедняга Суитинг, – фу ты, как брызнул жир, даже руку обожгло, – тому, видно, на роду написано быть рабом женщин. Ну а мы с вами, Мур, – нате вот эту котлетку, она сочная и хорошо подрумянилась, – мы, конечно, не допустим, чтобы жены верховодили нами.

– Не знаю. Я как-то об этом и не думал; впрочем, если жена будет миловидной и сговорчивой, то пускай себе!

– Ну-с, котлеты готовы. А как пунш?

– Вот попробуйте, я вам налил... Надо будет попотчевать Джо Скотта и остальных, если только они доставят мои станки в целости.

За ужином Мелоун развеселился: громко смеялся по всякому поводу, отпускал плоские шуточки и сам их похваливал – словом, совсем разошелся. Хозяин дома, напротив, сохранял невозмутимое спокойствие. Пора, однако, дать тебе, читатель, некоторое представление о его внешности; пока он сидит, задумавшись, за столом, я попытаюсь набросать его портрет.

На первый взгляд его облик может показаться несколько странным: он похож на иностранца, худощав, цвет лица у него изжелта-смуглый; пряди темных волос ниспадают на лоб; по-видимому, он не слишком занимается своей одеждой, иначе в ней было бы больше вкуса; он, кажется, и не подозревает о том, что у него привлекательное лицо южного типа, с изящным овалом и правильными, тонко обрисованными чертами. Но и другие замечают это, только приглядевшись к нему, – тревожное и несколько угрюмое выражение портит это красивое лицо. Большие серые глаза смотрят пристально и строго, скорее пытливо, чем ласково, скорее вдумчиво, чем приветливо. Когда он улыбается, лицо становится приятным, не то чтобы открытым или веселым, но оно подкупает вас своим мягким спокойствием и говорит – хотя, быть может, впечатление это обманчиво – о душе чуткой и нежной, о терпении, снисходительности, возможно, и о верности, – чертах характера, столь драгоценных в семейной жизни. Он еще молод, – ему не более тридцати лет, – высок ростом и строен. Но говорит он неприятно: его иностранный выговор, который он старается замаскировать нарочитой небрежностью произношения, режет слух англичанина и тем более йоркширца.

Дело в том, что Мур не чистокровный англичанин. Мать его была француженкой; он родился и провел детство в чужих краях. Полуфранцуз-полуангличанин, Мур отличался половинчатостью чувств во многом, например в чувстве патриотизма; по-видимому, он был способен связать себя с какой-либо партией, с вероучением, сродниться с одной страной и ее обычаями; возможно, он был склонен держаться особняком в любой общественной среде, куда могла его забросить судьба, и полагал, что самое лучшее для него, Роберта Жерара Мура, ставить превыше всего свои собственные интересы, не принимая во внимание филантропические соображения блага общественного, ибо подобные соображения были ему совершенно чужды. Наследственным призванием Мура была торговля. Антверпенские Жерары были коммерсантами на протяжении двух столетий; некогда они преуспевали, но неустойчивость и изменчивость политической обстановки и финансовые затруднения постепенно разоряли их; несколько неудачных торговых сделок подорвали их престиж; после этого торговый дом Жераров кое-как еще держался лет десять, но буря французской революции окончательно разорила его. В своем крушении он увлек за собой английскую и йоркширскую фирмы Муров, тесно связанных с антверпенской фирмой; один из компаньонов, Роберт Мур, был женат на Гортензии Жерар; в свое время он рассчитывал, что супруга его унаследует в деле долю своего отца, Константина

Жерара, но случилось так, что в наследство ей достались одни лишь долговые обязательства. Говорили, что часть этого долга, – уменьшенного полюбовным соглашением с кредиторами, – перешла по наследству к ее сыну Роберту и что он надеялся когда-нибудь выплатить этот долг и восстановить торговый дом Жерара и Мура хотя бы в его былом величии. По-видимому, перенесенные испытания оставили глубокий след в его душе, и если в самом деле горестные впечатления детства, проведенного возле угрюмой матери, в предчувствии надвигающейся катастрофы, и юности, исковерканной и смятой разразившейся бурей, мучительно запечатлеваются в сознании человека, то в его памяти сохранились отнюдь не лучезарные воспоминания.

Во всяком случае, если Мур и лелеял надежду восстановить торговую фирму Жераров, то у него не было ни средств, ни возможностей сделать это, и в ожидании лучших времен приходилось довольствоваться малым. Но по приезде в Йоркшир, где предки его владели складами в порту и фабриками в городе, имели там дом и поместье, он смог позволить себе только одно – арендовать суконную фабрику на окраине маленького городишки, поселиться в домике по соседству и присоединить к своим владениям несколько акров неудобной земли на склоне лощины, в которой шумел фабричный ручей; там можно было пасти лошадь и установить сушильни. В те военные годы все было дорого, и он платил большую арендную плату опекунам наследницы имения Филдхед.

К тому времени, о котором мы ведем свое повествование, Роберт Мур прожил в округе всего два года, но успел проявить себя человеком деятельным и энергичным. Заброшенный домик он превратил в уютное приятное жилье, на клочке одичалой земли разбил сад и возделывал его с редкостным, истинно фламандским усердием и рвением. Фабрика же была старая, механизмы изношенные, устарелые, и Мур с самого начала отнесся к своему приобретению с нескрываемым презрением и недовольством; он решил в корне все здесь переделать и добивался всего, что могли позволить ему его скромные средства. Однако вести дело с размахом Мур не мог, и это угнетало его, всегда стремившегося вперед. «Вперед» – было девизом его жизни, но бедность обуздывала его стремления; иногда, говоря образно, он готов был грызть удила, когда узда слишком натягивалась.

Нельзя было и ожидать, чтобы Мур в подобном положении беспокоился о том, как бы интересы его карьеры не нанесли ущерба другим. Он не был здешним уроженцем или хотя бы старожилом и не жалел тех, кого своими нововведениями обрекал на нужду; он не задумывался над тем, где добудут кусок хлеба рабочие, лишённые заработка на его фабрике, но в своем равнодушии ничем не отличался от множества других предпринимателей, от которых голодавшие бедняки Йоркшира имели больше оснований требовать сочувствия.

Время, о котором я пишу, было одной из самых тяжелых эпох в истории Великобритании, в особенности для ее северных областей. Война была в разгаре, и в нее была ввергнута вся Европа. Затянувшиеся военные действия если и не окончательно истощили Англию, то в достаточной мере обессилили ее, народ устал и требовал мира на любых условиях. В глазах многих людей такие понятия, как честь нации, утратили всякий смысл, потому что зрение их было притуплено голодом и за кусок хлеба они продали бы свое первородство.

«Указ о контрблокаде», которым Англия ответила на миланский и берлинский декреты Наполеона, запрещавший нейтральным государствам торговать с Францией, оскорбив Америку, лишил йоркширских фабрикантов шерсти основного рынка сбыта и привел их на грань банкротства. На мелких иностранных рынках, заваленных товарами, был полный застой; на складах Бразилии, Португалии, Королевства Обеих Сицилий скопилось товаров на два-три года вперед. В это трудное время ткацкие фабрики на севере стали применять вновь изобретенные машины, вытеснявшие ручной труд; тысячи рабочих очутились на улице без заработка. Вдобавок год выдался неурожайным. Бедствие достигло своего предела. Мера терпения истрадавшегося народа была переполнена, вспыхивали бунты. Казалось, на севере, в гористых графствах, слышался смутный гул подземных ударов, предвещавший общественные потрясе-

ния. Но в те дни, как и всегда в подобных случаях, мало кто понимал всю серьезность положения. Вспыхивал ли голодный бунт, горела ли фабрика, подожженная бунтовщиками, подвергался ли разгрому дом фабриканта, когда его имущество выбрасывалось на улицу, а сам он ради спасения жизни бежал, забрав семью, – местные власти откликнулись на эти события неохотно, да и не всегда: зачинщика иногда обнаруживали, но чаще он ускользал, сообщения о происшествии попадали в газеты, и на том дело кончалось. А бедняки, единственным достоянием которых был труд, лишившись работы, а следовательно, заработка и куска хлеба, продолжали влачить жалкое существование; это было неизбежно: нельзя было ни прекратить изобретательство, ни остановить прогресс науки. Войну тоже невозможно было прекратить, и облегчения ждать было неоткуда; обездоленным ничего другого не оставалось, как смириться со своей участью – испить до дна чашу горя.

Нужда порождает ненависть; обездоленные возненавидели машины, которые, как они думали, отняли у них хлеб; они возненавидели фабрики, где стояли эти машины; они возненавидели владельцев фабрик. В приходе Брайерфилд, о котором мы повествуем, предметом особой ненависти была фабрика Мура; самым ненавистным среди фабрикантов был Жерар Мур, полуиностранец и ярый сторонник прогресса. И пожалуй, ему, человеку своеобразного склада, даже нравилось возбуждать к себе всеобщую ненависть, в особенности если он верил, что дело, за которое его ненавидят, – правое дело и выгодно для него; вот и сегодня ночью он в возбужденном, даже воинственном настроении поджидал прибытия фургонов с машинами; возможно, и Мелоун был для него сегодня нежелательным гостем; любя мрачное безмолвие и уединение, – пусть даже небезопасное, – он охотнее провел бы этот вечер в одиночестве; его ружье с успехом заменило бы ему любое общество; журчание полноводного ручья, доносившееся снизу, звучало для его слуха приятнее человеческого голоса.

* * *

Несколько минут Мур молча наблюдал за священником-ирландцем, без стеснения расправляющимся с его пуншем; внезапно странное выражение его серых задумчивых глаз изменилось, словно что-то другое привлекло его внимание.

– Ш-ш! – произнес он и поднял руку, когда Мелоун неосторожно звякнул бокалом. С минуту он прислушивался, затем встал, надел шляпу и вышел из конторы.

Вечер был темен, тих и недвижен; слышно было только, как стремительно мчится ручей, вздувшийся от дождя; в глубокой тишине казалось, что это большая река. Однако слух Мура уловил в отдалении и другие звуки – прерывистый стук тяжелых колес по каменистой дороге. Он вернулся в контору, зажег фонарь и, подойдя к воротам фабричного двора, отпер их. Показались громадные фургоны; слышно было, как тяжелые копыта ломовых лошадей шлепают по слякоти. Мур крикнул в темноту:

– Эй, Джо! Все в порядке?

Ответа не последовало, но, быть может, Джо Скотт был еще далеко и не расслышал его голоса.

– Все в порядке, я спрашиваю? – повторил Мур, когда могучая голова первой лошади чуть не коснулась его плеча.

Кто-то спрыгнул с переднего фургона; чей-то голос громко крикнул:

– Все в порядке, дьявол проклятый! Мы их переломали!

В темноте раздался быстро удаляющийся топот. Брошенные фургоны застыли на месте.

– Джо Скотт! – Никакого ответа. – Мёргатройд! Пигхилс! Сайкс! – Молчание. Мур поднял свой фонарь: фургоны были пусты – ни людей, ни машин.

Мур дорожил этими машинами. На их покупку он истратил последние деньги. От них зависели важнейшие операции с сукнами; но где же машины?

В ушах у него звенели слова: «Мы их переломали». Но как воспринял он известие о катастрофе? Свет фонаря падал на его лицо, и на нем, как ни странно, проступила улыбка – улыбка, которая появляется у человека волевого в те минуты, когда надо собрать все силы, призвать все свое мужество, чтобы выдержать испытание и не дать воле сломиться. С минуту он постоял на месте, раздумывая, что ему теперь делать, потом поставил фонарь на землю, скрестил руки на груди и задумчиво опустил глаза.

Одна из лошадей нетерпеливо била копытом. Мур поднял глаза и заметил, что на упряжи что-то белеет; поднеся фонарь поближе, он увидел сложенный листок бумаги – записку; он развернул ее, адреса не было, но письмо начиналось обращением: «Дьяволу с фабрики в лошине».

Мы не будем приводить это послание в том виде, как оно было написано, со всеми его ошибками, но было там примерно следующее:

«Обломки твоих проклятых машин валяются на Стилброской пустоши, а твои люди, связанные по рукам и ногам, брошены в канаву у дороги. Пусть это послужит тебе предостережением от голодных, которые, покончив с этим делом, вернуться домой, где их ждут такие же голодные жены и дети. А если попробуешь завести новые машины или будешь стоять на своем, ты о нас еще услышишь. Берегись!»

– Услышу о вас? Да, я о вас услышу, но и вы обо мне услышите. Я сейчас же поговорю с ними. Вы еще обо мне услышите!

Мур завел фургоны во двор и поспешил к домику; там он открыл дверь и торопливо, но спокойно сказал несколько слов двум женщинам, выбежавшим ему навстречу в прихожую. Одну из них, очень взволнованную, он постарался успокоить, осторожно рассказав ей о происшедшем, а другой приказал: «Вот вам ключ, Сара, бегите на фабрику и ударьте изо всех сил в колокол. Потом помогите мне зажечь все фонари».

Вернувшись к лошадям, Мур поспешно распряг их, завел в конюшню и задал им корму. По временам он останавливался, как бы прислушиваясь к ударам колокола, – не привычно размеренным, но громким и тревожным. В ночной тишине далеко вокруг разносился его гул, необычный для столь позднего часа; посетители, сидевшие на кухне трактира, всполошились, услышав его. «Видно, на фабрике Мура что-то стряслось», – решили они и, захватив с собой фонари, поспешили всей компанией на фабрику. Едва эти люди со своими мигающими фонарями ввалились всей гурьбой во двор, как послышался цокот копыт, и сухопарый человек в широкополой шляпе, сидя очень прямо на своей маленькой косматой лошадке, въехал вслед за ними бойкой рысцой в сопровождении «адъютанта» на коне покрупнее.

Тем временем Мур оседлал верховую лошадь и с помощью служанки Сары осветил всю фабрику. На дворе теперь стало светло, как днем, и можно было не опасаться никакой суматохи из-за темноты. Вскоре со двора донесся неясный гул многих голосов. Из конторы вышел Мелуон, предварительно обдав голову и лицо холодной водой из кувшина, – эта благоразумная мера и внезапный испуг прояснили его мозг, слегка затуманенный щедрими возлияниями. Он остановился на пороге конторы, отвечая наобум на вопросы, сыпавшиеся со всех сторон; шляпа его была сдвинута на затылок, в правом кулаке он сжимал палку. Следом за ним вышел и Мур, к которому тотчас же направил свою лошадку человек в широкополой шляпе.

– Что вам нужно, Мур? Я так и знал, что нынче ночью мы вам понадобится, – мы с этим воякой, – он ласково потрепал лошадку по загривку, – да и Том на боевом коне. Как услышал я звон, уж не мог усидеть на месте и оставил Болтби заканчивать свой ужин в одиночестве. Но где же враг? Я что-то не вижу ни масок, ни вымазанных сажей физиономий, да и окна все целы. На вас напали или вы только ждете этого?

– Вовсе нет! Никто не нападал, и ничего я не жду, – невозмутимо ответил Мур. – Я приказал ударить в колокол потому, что мне нужно кое-кого из соседей оставить здесь, а самому с двумя-тремя другими поехать на Стилброскую пустошь.

– Зачем? Встречать фургоны?

– Фургоны прибыли час тому назад.

– Значит, все в порядке. Что же вам еще нужно?

– Они приехали порожними, а Джо Скотт и остальные сброшены в канаву вместе с машинами. Почитайте это письмоце...

Хелстоун принялся внимательно изучать уже известный нам документ.

– Гм! Они потчевали вас тем же, чем потчуют и других! Однако пострадавшие, я полагаю, жаждут избавления. Пустошь – неподходящее место для ночевки в такое ненастье. Мы с Томом проводим вас, ну а Мелоун пусть остается здесь охранять фабрику. Что это с ним? Глаза у него вот-вот выскочат из орбит.

– Он ел бараньи отбивные.

– Вот как! Питер Огест, будь осторожнее; не ешь больше отбивных. Тебе поручается этот дом. Почетное поручение!

– А кто-нибудь еще останется со мной?

– Выбирай кого угодно! Ну-с, друзья мои, кто из вас хочет остаться здесь, а кто не прочь отправиться со мной в Стилбро на помощь несчастным пострадавшим?

Всего трое вызвались идти; остальные предпочли остаться. Когда Мур сел на лошадь, мистер Хелстоун шепотом осведомился, не забыл ли он припрятать отбивные от Мелоуна. Мур утвердительно кивнул, и маленький отряд двинулся в путь.

Глава III. Мистер Йорк

Хорошее настроение зависит обычно не только от того, что происходит в нас самих, но и от всего, что окружает нас, совершается вокруг нас. Я делаю это банальное замечание потому, что, как мне известно, и Хелстоун, и Мур выехали из ворот фабричного двора во главе маленького отряда в наилучшем расположении духа. Когда свет фонаря (каждый из пешеходов нес по фонарю) падал на смуглое лицо Мура, видно было, что оно дышит оживлением, что глаза его необычно блестят; да и суровые черты мистера Хелстоуна преобразились, озаренные ликованием. Однако непогожая ночь и опасное предприятие не должны были бы веселить тех, кто мокнул под дождем и рисковал жизнью. Если бы хоть один из участников нападения в Стил-бро увидел этот отряд, он, конечно, не отказал бы себе в удовольствии пристрелить Мура или священника из-за угла; и те это знали, но опасность только воодушевляла их, ибо у людей этих были стальные нервы и закаленные сердца.

Я и сама знаю, читатель, что священника как пастыря душ человеческих украшает не воинственность, а миролюбие; я помню, какова его миссия, чье слово он доносит до нас, по чьим стопам следует; и все же, если ты сам ненавидишь духовенство, не думай, что и я готова по твоему примеру вступить на безотрадный, печальный путь отступничества; не думай, что и я присоединю свой голос к твоим проклятиям, проклятиям, в сущности, мелким и огульным, или что я разделю твою лютую, но неразумную ненависть к духовным лицам; что я, подняв глаза и руки к небу вместе с Сапплхью или же крича во всю мощь своих легких вместе с Барраклу, примусь обличать и клеймить дьявольское отродье – священника Брайерфилда.

А ведь, в сущности, он был вовсе не дьяволом, а просто человеком, к несчастью не понявшим своего призвания: ему следовало бы стать воином, а обстоятельства сделали его священником. Это был добросовестный, неподкупно честный, храбрый, крутой в обхождении, строгий человек трезвого и пронизательного ума, с железным характером, лишенный чувства снисходительности к ближним, суровый, непреклонный в своих пристрастиях, но достойный, искренний и верный своим убеждениям. Мне кажется, читатель, что люди не всегда созданы для своей профессии и иному профессия его не подходит, как платье, сшитое не по мерке, поэтому я и не собираюсь осуждать Хелстоуна, хоть он и отчаянный вояка по характеру; правда, многие из прихожан его ненавидели, зато другие души в нем не чаяли, как это всегда бывает с теми, кто слишком снисходителен к друзьям и нетерпим к врагам, кто непоколебимо верен своим убеждениям, так же как и своим предубеждениям.

Видя, как Мур и Хелстоун едут рядом, оба в отличном настроении, объединенные одной целью, можно было бы предположить, что они дружески беседуют. Ничуть не бывало! Этим двум желчным, суровым людям редко случалось встретиться без того, чтобы не поспорить. Нередко яблоком раздора им служила война. Хелстоун был рьяным тори, а Мур – заядлым вигом; во всяком случае, он разделял точку зрения вигов на войну (виги были ее противниками), ибо тут были затронуты его собственные интересы, а вопросы торговли были единственным, что его интересовало в британской политике. Он не мог отказать себе в удовольствии побесить Хелстоуна, высказывая уверенность в непобедимости Бонапарта, в бессилии Англии и всей Европы тягаться с ним, и заявил с полнейшим хладнокровием, что сопротивляться ему бесполезно и что вскоре он разделается с последним противником и станет безраздельным властителем мира.

Подобного рода суждения обычно выводили Хелстоуна из себя; но, вспоминая, что Мур чужеземец, выходец из другой страны, что в его жилах английская кровь испорчена инородной примесью, он крепился, сдерживая желание отколотить собеседника. Отчасти же его негодование умерялось и тем, что самоуверенный тон Мура и его постоянная желчность внушали ему известное уважение.

Путники свернули на дорогу к Стилбро; и тут в лицо им ударил встречный ветер и захлестали струи дождя, Мур, словно подстрекаемый колючим дождем и порывами ветра, пустился донимать своего собеседника пуще прежнего.

– Вас все еще радуют известия с Пиренейского полуострова?

– Я вас не совсем понимаю, – хмуро ответил священник.

– Вы все еще верите в вашего Ваала – лорда Веллингтона?

– Что вы хотите этим сказать?

– Вы все еще верите, что этот кумир Англии, с деревянным лицом и каменным сердцем, властен ниспослать на французов небесный огонь и истребить их дотла?

– Да, я верю, что Веллингтон сбросит в море всех маршалов Бонапарта, стоит ему захотеть.

– Но, дорогой мой сэр, не можете же вы всерьез так думать! Маршалы Бонапарта – великие полководцы, и ими руководит величайший гений; ваш Веллингтон ничем не примечательный, самый что ни на есть заурядный военный педант, а наше невежественное правительство на каждом шагу связывает его и без того медлительные действия.

– Веллингтон – воплощение британского духа, защитник правого дела, достойный представитель могучей, решительной, умной и честной нации.

– Под правым делом вы, как видно, подразумеваете не что иное, как восстановление жалкого Фердинанда²⁰ на престоле, который он покрыл позором; достойный представитель честного народа напоминает мне тупого пастуха на службе у не менее тупого фермера; а им противостоит непобедимый гений, победоносный титан.

– На законную власть посягает захватчик; скромный, прямодушный, справедливый народ отважно обороняется против ополчившегося на него хвастливого, вероломного, себялюбивого и коварного честолюбца. Боже, помоги правому!

– Бог чаще помогает сильному.

– Что? Неужели же горстка израильтян, стоявших станом на азиатской стороне Черного моря, которое они перешли, даже не замочив ног, была сильнее полчищ египетских, располжившихся на африканском берегу?²¹ Или их было больше? Или они оказались лучше снаряжены? Одним словом – были они могущественнее? Молчите, Мур, а не то вы солжете. Это была жалкая кучка измученных рабов; на протяжении четырех веков их угнетали тираны; часть этой и без того небольшой горстки составляли беспомощные женщины и дети, а грозные военачальники-эфиопы гнали войско египетское вслед за ними в расступившееся море, и эфиопы эти были сильны и свирепы, как ливийские львы; у них были колесницы и мечи, а бедные иудейские странники были пешими, большинству из них оружием служили пастушьи посохи да кирки каменотесов; их кроткий и великий вождь держал в руках только жезл; но вспомните, Роберт Мур, – их дело было правое; Бог брани был на их стороне, а фараоновым воинством командовали греховность и падший ангел, – и кто восторжествовал? Вы сами знаете: «И избавил Господь в день тот Израильтян из рук Египтян, и увидели сыны Израилевы Египтян мертвыми на берегу моря» и «Пучины покрыли их; они пошли в глубину, как камень». Десница Господня прославилась силою; десница твоя, Господи, сразила врага.

– Все это так, только сравниваете вы неправильно: Франция – это Израиль, Наполеон – Моисей. Пресыщенная Европа с ее одряхлевшими империями и насквозь прогнившими королевскими династиями – растленный Египет; доблестная Франция – это двенадцать колен израилевых, а ее энергичный завоеватель – сам Моисей.

– Не считаю нужным отвечать вам.

²⁰ Фердинанд VII – испанский король, взошедший на престол в 1814 году с помощью англичан, очистивших Испанию от французов.

²¹ Согласно библейскому тексту, Бог заставил воды Черного (Красного) моря расступиться, чтобы бежавшие из Египта израильтяне перешли его посуху, а преследовавшие их египтяне утонули в волнах.

Мур продолжал вполголоса, как бы рассуждая сам с собой:

– О да! В Италии он был велик, как Моисей! Только он и смог возродить народы. Не понимаю, как мог победитель в битве при Лоди согласиться стать императором – такой нелепый, грубый обман... И почему страна, когда-то именовавшая себя республикой, снова впала чуть ли не в рабство. За это я презираю Францию! Если бы Англия продвинулась по пути цивилизации так же далеко, как Франция, она не повернула бы вспять столь постыдно!

– Словом, вы хотите доказать, что кровавая французская республика все же лучше этой нелепой французской империи? – грозно спросил Хелстоун.

– Ничего я не хочу доказывать, но у меня есть свое мнение о Франции и Англии, о революциях, цареубийствах и восстановлении монархии, о священном праве монархов, за которое вы ратуете в своих проповедях, и о долге непротивления властям, и о разумности войн...

Но тут рассуждения Мура были прерваны тарактением двуколки, которая, поравнявшись с ними, внезапно остановилась посреди дороги; Мур и Хелстоун, увлеченные спором, не заметили ее приближения. Кто-то крикнул:

– Эй, хозяин, фургоны доехали?.

– Ты ли это, Джо?

– Он, он самый! – раздался другой голос.

Вооруженные фонарями пешеходы немного отстали от всадников, но в двуколке мерцал свой фонарь, и можно было разглядеть двух ездоков.

– Возвращаю твоего Джо Скотта, правда, в плачевном виде; я нашел на пустоши его и еще троих. Что ты мне дашь за то, что я доставил его в целостности и сохранности?

– Что же, скажу спасибо. Я готов потерять кого угодно, только не его; но я как будто узнаю голос мистера Йорка, – это вы?

– Я, я, дружище! Ехал я домой с базара в Стилбро и только добрался до середины пустоши, а нахлестывал я коня всюду, теперь, говорят, дороги небезопасны (спасибо нашим властям), как вдруг слышу – стонет кто-то. Другой на моем месте поскорее дал бы тягу, а я остановился; чего мне бояться? В наших краях не найдется никого, кто вздумал бы напасть на меня, а найдись такой озорник – я тоже не останусь в долгу. Вот я и спрашиваю: «Что-нибудь стряслось с вами?» – «Еще как стряслось», – отвечает мне голос, словно из-под земли. «Да говорите толком – в чем дело?» – «Ничего особенного, только лежим все четверо в канаве», – отвечает мне Джо так спокойно. Я, конечно, решаю, что все они пьяны, принимаюсь стыдить их, приказываю вылезать из канавы, а не то, мол, попробуете моего кнута. «Мы бы давно отсюда выбрались, да у нас ноги связаны». Ну, я мигом спустился в канаву и перерезал веревки перочинным ножом; Джо захотел поехать со мной, чтобы по дороге рассказать обо всем, а остальные бегут где-то сзади...

– Ну, спасибо, очень вам благодарен, мистер Йорк!

– Неужели? Не может быть! Но вот подоспели и все остальные. Ба! Там еще кто-то идет? Бог ты мой, люди с факелами, прямо-таки воинство Гедеона²². Ну, раз и пастырь наш оказался здесь, – добрый вечер, мистер Хелстоун! – значит, все в порядке.

На приветствие человека в двуколке мистер Хелстоун ответил весьма сухо; тот продолжал:

– Нас тут собралось одиннадцать сильных мужей. Есть у нас лошади и колесницы. Попадись нам только эти оборванцы! Уж мы бы их одолели и прославились бы не хуже Веллингтона, – надеюсь, это сравнение вам по душе, мистер Хелстоун? А какую пищу дали бы мы газетам и как бы прославили Брайерфилд! Впрочем, уже и так этому делу должны отвести столбец, а то и полтора в «Курьере Стилбро».

²² Гедеон – один из известнейших судей израилевых; с небольшим отрядом напал на мадианитян, которые в ужасе бежали за Иордан, надолго оставив израильтян в покое.

– Это я вам обещаю, мистер Йорк, я сам напишу статью, – сказал священник.

– Разумеется! Вот и отлично! И не забудьте позаботиться о том, чтобы негодяи, которые переломали машины и связали Джо Скотта, были повешены без отпущения грехов. За такие дела полагается виселица.

– Если бы их судил я, у меня с ними был бы короткий разговор, – вскричал Мур, – но пусть еще погуляют на свободе – может, сами сломают себе шею!

– Что? Ты хочешь оставить их в покое? Это серьезно?

– Я хочу сказать, что не буду особенно стараться изловить их. Но если хоть один повстречается мне на пути...

– Ты его сцапаешь, конечно. Но тебе, видно, хотелось бы, чтобы они натворили что-нибудь посерьезнее, и тогда уж ты с ними рассчитаешься сполна. Но пока довольно об этом. Мы уже у дверей моего дома, и надеюсь, джентльмены, что вы не откажетесь заглянуть ко мне? Вам всем не мешало бы отдохнуть и перекусить...

Мур и Хелстоун начали было отказываться, но хозяин дома приглашал их так радушно, ночь была такой ненастной, а окна возвышавшегося перед ними дома, затянутые легкими муслиновыми занавесками, светились так приветливо, что они позволили уговорить себя.

Выйдя из двуколки и передав экипаж на попечение слуги, Йорк провел своих гостей в дом.

Следует заметить, что мистер Йорк любил разнообразить свою речь. То он говорил с резко выраженным йоркширским акцентом, то на чистейшем английском языке. Неровность отличала и его обращение с людьми: подчас он был учтив и приветлив, а подчас груб и суров. По его поведению и манере разговаривать трудно было бы определить его положение в обществе. Но быть может, внутреннее убранство его дома подскажет нам кое-что.

Работникам он предложил пройти на кухню, сказав, что распорядится угостить их. Мур и Хелстоун вошли в парадный подъезд и очутились в вестибюле, устланном коврами и увешанном картинами чуть не до самого потолка. Затем их провели в просторную гостиную, где в камине пылал яркий огонь. В этой комнате вам сразу становилось веселее на душе, и отрадное впечатление только усиливалось, когда вы принимались ее рассматривать; она не была обставлена роскошно, но на всем лежал отпечаток необычайно тонкого вкуса – вкуса путешественника, ученого и аристократа. Стены были украшены видами Италии, причем каждая картина представляла собой истинное произведение искусства; все это были подлинники, и очень ценные: сразу видно было, что собирал их знаток. Даже при свечах ярко-синее небо, зыбкие дали, голубой воздух, который, казалось, трепетал между холмами, свежие тона зелени и прихотливая игра света и теней ласкали глаз; на фоне этих залитых солнцем пейзажей разыгрывались пасторальные сценки. На диване лежали гитара и ноты; были в комнате камеи и прелестные миниатюры; на камине стояли вазы в греческом стиле. В двух изящных книжных шкафах были аккуратно расставлены книги.

Мистер Йорк попросил гостей садиться; позвонив в колокольчик, он велел слуге принести вино и позаботиться о том, чтобы на кухне хорошо угостили работников. Однако священник продолжал стоять; казалось, в этой уютной комнате ему было не по себе; отказался он и от вина, предложенного хозяином.

– Как вам угодно, – сказал мистер Йорк. – Вам, видно, вспомнились восточные обычаи, – вы не хотите пить и есть под моим кровом из опасения, что это обяжет вас к дружбе со мной? Успокойтесь, я не столь щепетилен или суеверен. Вы можете выпить хоть весь графин или угостить меня бутылкой лучшего вина из вашего погреба, я все равно буду с вами спорить, где бы мы ни встретились – в церкви или в суде.

– В этом я ничуть не сомневаюсь, мистер Йорк.

– Мистер Хелстоун, неужели вам в вашем возрасте не тяжело гоняться за бунтовщиками, да еще в такую непогоду?

– Мне никогда не тяжело выполнять мой долг, а в данном случае мой долг – истинное удовольствие. Поймать преступников – дело благородное, достойное самого архиепископа.

– Вас-то оно, во всяком случае, достойно. Но где же Мелоун? Уж не навещает ли он больных и страждущих? Или тоже ловит преступников, но в другом месте?

– Он сторожит фабрику Мура.

– Вот как! Надеюсь, Боб, – Йорк обернулся к Муру, – ты не забыл оставить ему вина для храбрости? – И, не дожидаясь ответа, быстро продолжал, по-прежнему обращаясь к Муру, расположившемуся тем временем в старинном кресле у камина: – А ну вставай, Роберт! Вставай, дружище! Здесь сижу я. Усаживайся на диван или на любой стул, только не сюда... Это мое место, и больше ничье...

– Почему вы так пристрастны к этому креслу, мистер Йорк? – осведомился Мур, лениво повинувшись приказанию.

– Мой отец любил его прежде меня – вот тебе и весь сказ. Этот довод ничуть не хуже доводов мистера Хелстоуна, которые он приводит в оправдание многих своих взглядов.

– Мур, вы собираетесь уходить? – спросил мистер Хелстоун.

– Нет, Мур еще не собирается, – вернее, я еще не собираюсь отпустить его: этого скверного малого еще надо отчитать.

– За что, сэр? В чем я провинился?

– На каждом шагу наживаешь себе врагов.

– А мне-то что! Мне безразлично – любят или ненавидят меня ваши йоркширские болваны!

– То-то и оно! Ты считаешь себя чужим среди нас! Отец твой, тот никогда бы так не сказал. Что ж, отправляйся обратно в свой Антверпен, где ты родился и вырос, *mauvaise tge*²³.

– *Mauvaise tge vous-mgme; je ne fais que mon devoir: quant b vos lourdauds de paysans, je m'en moque!*²⁴

– *En revanche, mon garçon, nos lourdauds de paysans se moqueront de toi; sois en certain*²⁵, – ответил Йорк; он говорил по-французски почти столь же безукоризненно, как и сам Мур.

– *C'est bon! C'est bon! Et puisque cela m'est egal, que mes amis ne s'en inquiètent pas!*²⁶

– *Tes amis! Ou sont-ils, tes amis?*²⁷

– *Je fais, echo, ov sont-ils? Et je suis fort aise que l'echo seul y repond. Au diable les amis! Je me souviens encore du moment ov mon pfre et mes oncles Gerard appellèrent autour d'eux leurs amis, et, Dieu sait si les amis se sont empressés d'accourir b leur secours! Tenez, M. Yorke, ce mot, ami, m'irrite trop; ne m'en parlez plus*²⁸.

– *Comme tu voudras*²⁹.

Мистер Йорк замолчал; пока он сидит, откинувшись на резную спинку своего дубового кресла с треугольной спинкой, я воспользуюсь возможностью набросать вам портрет этого йоркширского джентльмена, столь превосходно говорящего по-французски.

²³ Дурная голова (фр.).

²⁴ Сами вы дурная голова; я только делаю свое дело, а что до ваших олухов крестьян, плевать мне на них! (фр.)

²⁵ Смотри, дружок, как бы они не наплевали на тебя... (фр.)

²⁶ Ну и отлично! Раз мне самому все равно, то и друзьям нечего тревожиться! (фр.)

²⁷ Твои друзья! Да где они, твои друзья-то? (фр.)

²⁸ Вот я и говорю, где они? И очень хорошо, что их нет. К черту друзей! Я еще помню то время, когда отец и дядя Жерар звали друзей на помощь, и одному Богу известно, поспешили ли откликнуться друзья! Знаете, мистер Йорк, слово «друг» меня бесит; не говорите мне больше о них (фр.).

²⁹ Как хочешь (фр.).

Глава IV. Мистер Йорк (Продолжение)

Это был йоркширский джентльмен до мозга костей. Ему было около пятидесяти пяти лет, но на первый взгляд он казался даже старше – голова у него была совсем седая. У него был широкий, но невысокий лоб, свежий, здоровый цвет лица; в его чертах, так же как и в манере говорить, проступала резкость, свойственная северянам; его лицо типичного англосакса, без единой норманнской черты, нельзя было отнести к разряду изящных, правильных, породистых. Люди изысканного вкуса нашли бы его грубоватым, проницательные назвали бы его характерным; тонкие люди сумели бы оценить ярко выраженное своеобразие, отмечавшее каждый изгиб, каждую морщинку этого сурового, умного, энергичного лица, и залюбовались бы им. Однако на нем были написаны также и строптивость, высокомерие, насмешливость, – словом, оно показывало, что этому человеку нелегко приказывать, что он не терпит принуждения. Мистер Йорк был довольно высокого роста; стройный и подтянутый, он обладал величественной осанкой. Да, это был джентльмен с головы до пят.

Нелегко было мне обрисовать внешность мистера Йорка, а определить его характер еще труднее. Ты ошибаешься, читатель, если предполагаешь, что я собираюсь вывести некоего безупречного героя или благодушного пожилого помещика-филантропа; правда, разговаривая с Муром, Йорк выказал немало здравого смысла и доброжелательности, но из этого вовсе не следует, что он всегда обходителен с людьми и справедлив в своих суждениях.

Во-первых, природа не наделила мистера Йорка чувством почтительности – существенный недостаток, немало вредящий человеку в тех случаях, когда требуется быть почтительным. Во-вторых, ему было отказано в способности сопоставлять и сравнивать – недостаток, который лишает человека снисходительности к себе подобным. В-третьих, природа скудно одарила его добродушием и склонностью к мечтательности, что лишило его характер мягкости и просветленности и обесценило в его глазах эти свойства, столь украшающие наш мир.

Неспособность быть почтительным делала его нетерпимым к сильным мира сего: ему были отвратительны короли, вельможи и духовенство, династии, парламенты и правительства, со всеми их деяниями, законами, образом правления, правами и требованиями; он считал, что от них нет ни проку, ни радости и человечество ничего не потеряет, если все высокие троны будут снесены и все высокопоставленные лица при этом погибнут.

Неспособность быть почтительным лишала его также и высшего наслаждения – восхищаться тем, что прекрасно; иссушило в его душе живительные родники множества чистых радостей и в корне убило ростки многих удовольствий. Неверующим его нельзя было назвать, хотя он и не исповедовал какой-либо определенной веры, но вера его не была исполнена смиренного почитания; он верил, что есть Бог и высшая справедливость, но без благоговения, воображения и чувствительности.

Не обладая способностью сравнивать, Йорк часто был непоследователен: он провозглашал высокие принципы терпимости и снисходительности, а сам тем не менее питал слепую неприязнь к некоторым слоям общества; он говорил о попах и о всех им подобных, о лордах и их прихлебателях в грубых, подчас оскорбительных выражениях, и это вызывало законное возмущение. Он не умел поставить себя на место тех, кого поносил, не умел найти оправдание их порокам и заблуждениям в тех искушениях и трудностях, которые их окружали, не мог вообразить себе, как повлияли бы на него те или иные обстоятельства, будь он в их положении, и часто высказывал самые жестокие, иногда бесчеловечные пожелания относительно тех, кого обвинял в жестокости и бесчеловечности. Если верить его угрозам, он не остановился бы перед самыми решительными, даже насильственными мерами, чтобы помочь делу Свободы и Равенства. Равенство! Да, мистер Йорк любил поговорить о равенстве, а ведь, в сущности, он был большим гордецом. Приветливый со своими рабочими и добрый с теми, кто стоял ниже его и

покорно с этим мирился, он был надменен, как Вельзевул, с теми, кого свет считал выше его, ибо сам он ни за кем не признавал превосходства. По природе человек непокорный, он никому не желал повиноваться; таковы же были его отец и дед, эту же черту унаследовали от него дети.

Отсутствие добродушия делало его нетерпимым к проявлениям людской глупости и к некоторым слабостям, которые ему, сильному и умному человеку, представлялись непростительными; поэтому в своей язвительной насмешливости он не знал удержу и способен был подчас колотить и колотить своего ближнего, не замечая, как яростно он нападает, не печалась о том, как больно ранит.

Что же до отсутствия мечтательности – это вряд ли можно назвать недостатком: тонкий музыкальный слух, глаз, умеющий видеть цвет и форму, наделили его хорошим вкусом, а кому нужно воображение? Разве оно не представляется большинству из нас бесполезным и даже опасным свойством, чем-то вроде болезни, близкой к безумию, или пагубным пристрастием, а не высоким даром?

Пожалуй, так думают все, кроме тех, кто наделен воображением или считает, что наделен им. Послушать их, так выходит, что сердца их были бы мертвы, если бы живительный ток воображения не омывал их; мир казался бы тусклым их глазам, если бы это пламя не проясняло их зрения; одиноко было бы им жить на свете, не будь с ними этого странного спутника. Можно подумать, что именно воображение дарит радужные надежды весне, тонкое очарование лету, тихие радости осенней поре и утешение зиме, – чего остальным людям не дано испытать. Все это, разумеется, не более как самообман. Однако мечтатели цепляются за свои призрачные иллюзии и не променяют их и на груды золота.

Мистер Йорк сам не обладал поэтическим воображением и считал это свойство совершенно излишним в других. Художников и музыкантов он еще терпел и даже поощрял, так как способен был наслаждаться произведениями их искусства, – понимал прелесть хорошей картины и с удовольствием слушал хорошую музыку, но скромный поэт, – пусть даже с пламенным сердцем и бурными страстями, – неспособный стать конторским клерком или биржевиком на товарной бирже, мог бы влачить свои дни в унижении и умереть с голоду на глазах у Хайрама Йорка.

В мире множество таких Хайрамов Йорков, и очень хорошо, что истинный поэт под внешним невозмутимым спокойствием и кротостью скрывает мятежный дух и пронизательный ум; он способен оценивать по достоинству тех, кто смотрит на него свысока, и понимать, чего стоит та карьера, которую он отверг, за что навлек на себя их презрение; очень отраднo, что он, понимая язык великого друга, матери-природы, нашел в слиянии с ней свои радости и легко обходится без тех, кому он сам мало приятен и кто ему совсем не приятен. Справедливо и то, что, хотя мир и обстоятельства не балуют его, поворачиваясь к нему нередко своей неприветливой, хмурой стороной, – не потому ли, что он и сам холодно и безучастно относится к ним? – в душе его царит лучистое сияние, неугасимый огонь, который согревает и освещает все вокруг него, тогда как постороннему наблюдателю его жизнь может показаться полярной зимой, без тепла, без солнца. Истинный поэт вовсе не заслуживает жалости и сам втихомолку смеется над тем непрощеным утешителем, который принимается оплакивать его печальную участь. Даже когда поклонники утилитарной философии утверждают, что ни он, ни его искусство никому не нужны, он отвечает незадачливым фарисеям столь откровенной насмешкой, столь глубоким, беспощадным, бичующим презрением, что скорее заслуживает упрека, чем соболезнования. Обо всем этом, впрочем, мистер Йорк и не думает, а нам сейчас предстоит заняться мистером Йорком.

Я уже говорила тебе, читатель, о его недостатках, однако можно о нем сказать и два-три добрых слова: он был одним из самых уважаемых и дельных людей в Йоркшире; даже недруги вынуждены были его уважать. Бедняки его любили, он всегда был к ним ласков и добр. С рабочими он обращался по-отечески заботливо: увольняя своего работника, он старался устроить

его на другое место, а если это не удавалось, то помогал ему переехать с семьей туда, где было легче получить работу. Следует, впрочем, заметить, что, когда кому-нибудь из его рабочих случалось проявить непочтительность, Йорк, – как и многие из тех, кто не терпит над собой принуждения, но отлично умеет принуждать других, – быстро подавлял бунтарские настроения в самом их зародыше, искоренял их, как сорную траву, чтобы они не разрослись и не возникали впредь в его владениях. Да, у него все обстояло благополучно, и поэтому он считал себя вправе строго осуждать своих менее удачливых соседей, полагая, что во всех неприятностях виноваты они сами, и неизменно становясь на сторону рабочего, а не хозяина.

Род Йорка был одним из самых старинных и уважаемых в округе; мистер Йорк был хотя и не самым богатым, но одним из влиятельнейших людей. Образование он получил прекрасное; еще юношей, в годы, предшествовавшие французской революции, он много путешествовал по Европе и хорошо знал французский и итальянский языки. За свое двухлетнее пребывание в Италии он собрал коллекцию хороших картин и изящных антикварных вещей, которые теперь украшали его дом. При желании он держался как образованный джентльмен старинного закала. Речь его, когда он хотел понравиться, становилась занимательной и полной блеска; и если он чаще всего прибегал к родному йоркширскому диалекту, то делал это по прихоти, предпочитая его более изысканному способу выражения. «Картавость йоркширца, – утверждал он, – настолько же приятнее шепелявости лондонского щеголя, насколько рев быка приятнее писка крысенок».

Мистер Йорк знал всех соседей на много миль кругом, и все знали его, но настоящих друзей у него почти не было. Будучи сам человеком своеобразного склада, он не любил людей заурядных. Люди самобытного, необычного склада любого звания были ему по душе, но благовоспитанный и бесцветный человек, даже самого высокого положения, вызывал в нем неприязнь. Он охотно проводил часок-другой в беседе с каким-нибудь смышленным работником или со старой крестьянкой, умной и острой на язык, но жалел минуты, потраченные на разговор с учтивым, но ничем не примечательным джентльменом или светской, элегантною, но легкомысленной дамой. В своих симпатиях и антипатиях он не знал никакой меры и забывал, что среди тех, кому отказано в своеобразии, могут попадаться приятные и даже превосходные люди. Иногда, впрочем, он изменял своему правилу; он чувствовал себя как нельзя лучше среди людей простых, чистосердечных, не тронутых воспитанием, неразвитых и неспособных оценить его образованность и ум: с ними он мог позволить себе колкости и насмешки, не боясь оскорбить их или задеть; да они и не вдумывались в его слова, не присматривались к его поступкам, не обсуждали его мнений. С ними он чувствовал себя весьма непринужденно и поэтому предпочитал их обществу всякому другому. Среди них он царил. Они подчинялись его воле слепо и бездумно, не отдавая себе отчета в его власти над собой; в их безоговорочном повиновении не было и тени услужливости или подобострастия, поэтому-то их доверчивость и покорность были удобны ему, как удобны человеку кресло, в котором он сидит, или пол, по которому он ходит.

Читатель, наверное, уже заметил, что мистер Йорк выказывал некоторое расположение к Муру; для этой благосклонности имелись свои причины: как это ни странно, но одной из причин было то, что Мур говорил по-английски с акцентом, а по-французски безукоризненно правильно и что его смуглое, тонко очерченное худощавое лицо было отнюдь не йоркширского и вообще не британского типа. Казалось бы, такое незначительное обстоятельство едва ли могло повлиять на человека, подобного Йорку; но дело в том, что эти особенности пробуждали в его душе давние и приятные воспоминания, унося его вновь к поре юности, к годам путешествий. В Италии, в ее городах и селениях, Йорк видел лица такого типа, как у Мура; в Париже, в театрах и кафе, он слышал говор, подобный говору Мура; тогда он был молод, и вот всякий раз, когда он видел или слышал этого иностранца, ему казалось, что благословенная пора юности снова вернулась.

Кроме того, он в свое время знал отца Роберта и вел с ним торговые дела; это было уже существенной, хотя и нельзя сказать, чтобы приятной связью между ними; банкротство торгового дома Мура нанесло Йорку некоторый ущерб.

К тому же он питал уважение к Роберту как к умелому дельцу. Наблюдая за ним, он все больше убеждался, что Роберт в конце концов тем или иным путем разбогатеет; ему нравились его решительность, пронизательный ум, а возможно, жесткость характера. К тому же Йорк был одним из опекунов несовершеннолетней наследницы, на чьей земле была расположена фабрика Мура, и тому часто приходилось советоваться с ним по всякого рода делам, и это тоже их сближало.

Что касается Хелстоуна, то между ним и хозяином дома чувствовалась взаимная неприязнь, вдвойне сильная, ибо она была порождена различием характеров и житейскими обстоятельствами. Вольнодумец не выносил догматика, поклонник свободы – страстного приверженца существующего порядка; кроме того, по слухам, они в былые годы добивались руки одной и той же девушки.

Мистер Йорк в молодости отдавал предпочтение веселым и бойким женщинам: его пленяли эффектность, живой ум и острый язычок. Однако ни одной из этих блестящих красавиц он не сделал предложения и вдруг не на шутку влюбился; его избранница была ничуть не похожа на тех, кому он до сих пор дарил свою благосклонность; это была девушка с лицом Мадонны, ожившее мраморное изваяние, воплощенная кротость и смирение. Неважно, что она едва отвечала, когда он к ней обращался; неважно, что она будто не слышала его вздохов, не видела его нежных взглядов, редко улыбалась его шуткам, не уделяла ему внимания и не питала уважения; неважно, что она не обладала теми достоинствами, которые всегда восхищали его в женщине; для него Мэри Кейв была совершенством, потому что он, по той или иной причине, полюбил ее.

Мистер Хелстоун, в то время младший священник Брайерфилда, тоже любил Мэри или, во всяком случае, увлекался ею. Многие пленялись этой девушкой, прекрасной, как те мраморные ангелы, что украшают гробницы. Однако всем своим поклонникам она предпочла священника из уважения к его сану; этот сан, по-видимому, наделил его ореолом, достаточным для того, чтобы она сделала свой выбор, – тем ореолом, которого мисс Кейв не видела в других своих поклонниках-коммерсантах. Мистер Хелстоун не питал к Мэри ни всепоглощающей страсти, подобно мистеру Йорку, ни почтительного благоговения, подобно большинству ее поклонников. Не в пример другим он видел ее такой, какой она была на самом деле, и потому ему было нетрудно полностью подчинить себе ее волю. На его предложение она без колебаний ответила согласием, и они поженились.

Однако по самой своей природе Хелстоун не мог быть хорошим мужем, в особенности женщине тихой и мягкой; он полагал, что, если жена молчит, – значит, ей ничего не надо, ничто ее не беспокоит. Если она не жалуется на одиночество – значит, постоянное одиночество ей не в тягость. Если она не требует к себе внимания, не заявляет, что к тому-то у нее лежит сердце, а к тому-то не лежит, – значит, у нее нет собственных вкусов и склонностей и ее мнения можно и не спрашивать; он и не пытался понять, что женщина во многом не похожа на мужчину; он видел в ней лишь существо иного, скорее всего низшего порядка. Жена не могла быть ни другом своего мужа, ни тем более его советчицей или опорой. Два-три года спустя он почти охладел к ней и был чрезвычайно изумлен, когда в один прекрасный день увидел на супружеском ложе бездыханным ее прекрасное тело; он почти не замечал, что она таяла, хотя все кругом давно уже это видели. Утрата, казалось, не потрясла его, хотя – как знать? – его равнодушие могло быть и напускным, ибо скорбь нелегко исторгала слезы из его глаз.

Его сухие глаза и внешне бесстрастный вид оскорбляли чувства старой домоправительницы и служанки, – ухаживая за больной, они имели случай лучше ее супруга узнать, что у их госпожи было доброе и любящее сердце; обряжая тело усопшей, они усердно сплетничали,

вдаваясь во всевозможные подробности и не жалея прикрас, об истинной и предполагаемой причине ее смерти; словом, они всячески разжигали друг в друге негодование против сурового маленького человечка, который занимался делами в соседней комнате, не подозревая о том, как его осуждают за спиной.

И вот едва бранные останки миссис Хелстоун были преданы земле, как в округе поползли слухи о том, что ее сгубило тайное страдание. Слухи вскоре превратились в подробные рассказы о холодности и даже бессердечии ее супруга, и эта явная клевета была всеми с легкостью принята на веру. Дошли толки и до мистера Йорка, который отчасти поверил им. Он и без того не питал дружеских чувств к своему счастливому сопернику; хотя он и был женат, притом на женщине совсем иного склада, чем Мэри Кейв, он не мог забыть безответной любви своей юности, а узнав, что Хелстоун не любил и, быть может, даже оскорблял ту, которая была ему так дорога, Йорк проникся к нему жгучей неприязнью.

О причине и силе этой неприязни мистер Хелстоун лишь смутно догадывался; он не знал, как сильно Йорк любил Мэри Кейв, что пережил он, потеряв ее; вдобавок ходившие на его счет слухи не достигали ушей священника. Он предполагал, что его с Йорком разделяли только политические и религиозные разногласия, и, зная он подоплеку этой неприязни, никакая сила не заставила бы его переступить порог дома своего бывшего соперника.

Мистер Йорк оставил Мура в покое, и разговор перешел на более общие темы, порой, однако, вновь сбиваясь на спор. Тревожное положение в стране и частые случаи нападения на фабрики в здешних краях давали собеседникам обильную пищу для подобных споров, тем более что все трое по-разному смотрели на происходящее: Хелстоун считал хозяев пострадавшими, а рабочих – безрассудными; он осуждал недовольство властями, охватившее население, так же как растущее нежелание народа терпеливо сносить неизбежное, по его мнению, зло; он требовал крутых мер со стороны правительства, беспощадных приговоров смутьянам и в случае необходимости быстрого применения военной силы.

Мистер Йорк спрашивал, насытят ли эти строгие насильственные меры голодных, дадут ли работу тем, кто безуспешно ее ищет, и с негодованием отвергал идею неизбежности зла; он говорил, что чаша терпения народа уже полна и что сопротивление в наши дни стало гражданским долгом; утверждал, что широко распространенный дух недовольства властями – весьма отрадное знамение нашего времени; да, фабрикантам приходится сейчас трудно, но виновато в этом их собственное «растленное, продажное и кровавое» правительство. Всему виной безумцы, подобные Питту, дьяволы, подобные Каслри, злобные болваны, подобные Персевалу³⁰, – вот они, тираны, проклятие Англии, губители ее торговли. Это их тупое упорство в ведении ничем не оправданной, безнадежной, разорительной войны завело страну в тупик; это их непомерные налоги и позорные Приказы Совета камнем висят на шее нашей страны; и за это они заслуживают осуждения и виселицы.

– Но что толку говорить? – вопрошал Йорк. – Нет никакой надежды, что доводы разума будут услышаны в стране, угнетаемой королями, попами и пэрами, в стране, где номинальный монарх – умалишенный, а подлинный правитель – беспринципный распутник³¹; где терпят такое издевательство над здравым смыслом, как наследственные законодатели, такую нелепость, как епископы-законодатели, где благоговейно почитают государственную церковь, разжиревшую, проникнутую духом нетерпимости и злоупотребляющую своей властью, где держат постоянную армию и целое полчище попов-тунеядцев, которые со своими нищими семьями обирают страну.

³⁰ Питт Уильям (1759–1806), Каслри Роберт Стюарт (1769–1822), Персиваль Спенсер (1762–1812) – английские государственные деятели конца XVIII и начала XIX века, создатели Приказов Совета.

³¹ Имеется в виду король Георг III, в 1810 году впавший в умопомешательство, что привело к установлению регентства, и его сын, принц-регент, впоследствии король Георг IV.

Тут мистер Хелстоун поднялся и, надев свою широкополую шляпу, ответил, что ему случилось два-три раза в жизни встречать людей, которые придерживались подобного образа мыслей до тех пор, пока они были здоровы, полны сил и преуспевали. Но, добавил он, грядет час, «когда стражи содрогнутся; когда узрят они перст Всевышнего и страх встанет у них на пути; это время будет временем испытания для вождя анархии и мятежа, врага религии и порядка»; был случай, когда его, священника Хелстоуна, призвали, чтобы прочесть молитвы, предназначенные церковью для болящих, – прочесть их у изголовья несчастного умирающего, одного из самых лютых врагов нашей религии; и он увидел, как тот, охваченный раскаянием, жаждал найти путь к покаянию и не мог этот путь найти, хотя искал его усердно, со слезами на глазах. Вот он и считает своим долгом напомнить мистеру Йорку о том, что всякое богохульство – это смертный грех и что наступит когда-нибудь день Страшного суда.

Да, мистер Йорк тоже верит, что наступит когда-нибудь день Страшного суда, иначе как же будет воздано по заслугам всем негодьям, которые торжествуют в этом мире, безнаказанно разбивают невинные сердца, злоупотребляют незаслуженными привилегиями, позорят свое высокое звание, вырывают изо рта у бедняка кусок хлеба, подавляют своим высокомерием простых скромных людей и подло раболепствуют перед знатными и богатыми, – как же будет им отплачено той же монетой?

– И вот, – говорил Йорк, – когда я готов был пасть духом при виде зла, торжествующего на этой нечестивой, мерзкой планете, я брал в руки вон ту книгу, – он указал на стоявшую в книжном шкафу Библию, – наугад открывал ее, и мне неизменно попадалось изречение, как бы светившееся сернистым голубым пламенем. И мне становилось ясно, – утверждал Йорк, – что ожидает в будущей жизни иных из нас, словно ангел с большими белыми крыльями появился на пороге и возвестил мне это.

– Сэр, – ответил Хелстоун со всем достоинством, на какое был способен, – высокая мудрость человека состоит в том, чтобы познавать самого себя и тот предел, куда он направляет стопы свои.

– Да, да, но вспомните, мистер Хелстоун. Невежество было унесено от самых врат небесных и брошено у врат ада на склоне горы.

– Но я помню также, мистер Йорк, что слепая Гордыня, не видя дороги, рухнула в глубокую пропасть, вырытую князем тьмы, чтобы завлекать туда тщеславных дураков, и разбилась вдребезги.

Тут Мур, который, не принимая участия в споре, давно прислушивался к нему с любопытством беспристрастного свидетеля, – ибо его равнодушие к политике, так же как и к досужей болтовне соседей, позволяло ему быть беспристрастным судьей в подобного рода перепалках, – счел нужным вмешаться:

– Хватит вам оскорблять друг друга и доказывать, как искренне вы друг друга ненавидите и презираете. Что касается меня, то вся моя ненависть направлена против негодяев, переломавших мои машины, и ее не осталось ни для моих приятелей, ни тем более для столь смутных понятий, как вера или правительство. Но должен вам сказать, джентльмены, вы оба показали себя в весьма невыгодном свете. Я не решаюсь провести ночь под крышей такого бунтовщика и богохульника, как вы, мистер Йорк; боюсь я и возвращаться домой вместе с таким жестоким, деспотичным священником, как вы, мистер Хелстоун.

– Я-то, во всяком случае, уйду, – мрачно заявил священник. – Поедемте вместе, если хотите, или оставайтесь – как вам угодно.

– Нет, совсем не «как угодно». Он тоже отправится с вами, – заявил Йорк. – Уже за полночь; а у меня в доме никому не позволено засиживаться позднее. Ступайте оба.

Он позвонил в колокольчик.

– Деб, – сказал он вошедшей служанке, – выпроводи людей из кухни, запри дверь и ложись спать. А вы, джентльмены, пожалуйте сюда, – добавил он, обращаясь к гостям.

Он осветил им, пока они шли к выходу, и чуть ли не вытолкнул их вон.

На дворе они увидели своих людей, тоже спешно выгнанных из кухни; у ворот стояли их лошади; они сели верхом и поехали, Мур – посмеиваясь над тем, как бесцеремонно их выставили за дверь, а Хелстоун – сердясь и негодуя.

Глава V. Домик в лощине

Когда Мур проснулся на следующее утро, хорошее настроение еще не покинуло его. Он вместе с Джо Скоттом переночевал на фабрике, соорудив для себя ложе из всех подходящих предметов, какие оказались под рукой в различных уголках конторы. Хозяин – всегда ранняя пташка – на этот раз поднялся раньше обычного; одеваясь, он даже принялся напевать французскую песенку и разбудил Джо.

– Да вы, я вижу, не унываете, хозяин?

– Ничуть, *mon garçon*, что означает «дружище», – вставай-ка и ты поживее, и пока мы с тобой будем обходить фабрику, до начала работы я успею посвятить тебя в свои планы. У нас все-таки будут машины, Джозеф: слышал ли ты что-нибудь о Брюсе³²?

– И о пауке? Слышал, как же; я читал историю Шотландии и знаю ее небось не хуже вашего; вы хотите сказать – не уступим?

– Вот именно.

– Любопытно, а много в ваших краях таких вот упорных, как вы? – осведомился Джо, складывая и убирая в угол свою временную постель.

– В моих краях? А где же это – мои края?

– Как же! Франция – разве нет?

– Ну уж нет! Правда, Франция завладела Антверпеном, где я родился, но это еще не делает меня французом!

– Значит, Голландия?

– Тоже нет. Я не голландец; ты путаешь Антверпен с Амстердамом.

– Так Фландрия?

– Что ты выдумываешь, Джо! Какой я фламандец! Разве у меня лицо фламандца? Нескладный нос картошкой, низкий, словно срезанный, лоб, водянистые глаза *b fleur de tge*?³³ Или я коротконогий толстяк, как все эти фламандцы? Впрочем, ты и представления не имеешь, как они выглядят – нидерландцы. Нет, Джо, я уроженец Антверпена, так же как и моя мать, но родом она была из Франции, вот почему я и говорю по-французски.

– Зато отец ваш был йоркширцем, – значит, и вы немного йоркширец; да оно и видно, что вы нам сродни, вам только бы наживать денежки да идти в гору!

– Джо, ты просто наглец! Правда, такой тон для меня не новость. И в Бельгии рабочие держатся очень развязно с хозяевами, то есть я хочу сказать *brutalement*, что, пожалуй, вернее всего перевести как «грубо».

– Что ж, у нас тут принято говорить, что думаешь, без обиняков! Молодые священники и большие господа из Лондона иной раз поражаются на нашу неотесанность, а мы и рады подразнить их; смешно смотреть, как они негодуют, закрывают глаза и разводят руками, словно им выворачивает душу, да так и сыплют словами: «Ужас! Вот дикари! До чего же грубы!»

– Вы и есть дикари, Джо. Что ты думаешь, вы здесь образованные?

– Не то чтобы очень, но кое-что знаем! Мне сдается, рабочий люд на севере посмышленнее, да и посметливее этих пахарей-южан. Ремесло отточило нам мозги; а механикам вроде меня и подавно приходится шевелить мозгами; сами знаете, что значит следить за машинами, – вот я уже и наострился; если мне что непонятно, я стараюсь дойти своим умом и, бывает, соображу что к чему; да и почитать я охотник – интересуюсь, что наши правители думают делать с нами и для нас; а есть у нас и посмышленнее меня! Среди тех же замасленных парней и

³² Роберт I Брюс (1274–1329) – король Шотландии, сумевший отстоять ее независимость от английского владычества. По легенде, после череды поражений шотландских войск Брюс обрел надежду, наблюдая, как упорно паук плетет паутину.

³³ Навыкате (фр.).

красильщиков, измазанных краской, найдется немало толковых, что и в законах разбираются не хуже вас и старого Йорка и, уж конечно, лучше этого слюнтяя, Кристофера Сайкса из Уинбери, или того же долговязого, хвастливого болтуна – ирландского Питера, помощника Хелстоуна.

– Знаю, Джо, ты считаешь себя умником!

– Н-да, меня не проведешь, разберу что к чему, да и подходящего случая не упущу; я половчее тех, кто считает меня за низшего. Что толковать, в Йоркшире у нас много таких, как я, а есть и получше меня.

– Ну, разумеется – ты великий человек, ты просто самородок. Но вместе с тем ты наглец и самодовольный болван; если ты понахвтался кое-каких начатков практической математики да, глядя в красивейший чан, усвоил в химии кое-какие азы, тебе еще не стоит считать себя каким-то непризнанным ученым. Ни к чему также спешить с выводом, что если в торговом деле не всегда все идет гладко и ваш брат, рабочий, остается иной раз без работы и куска хлеба, то значит, все вы мученики и весь образ правления в нашей стране никуда не годен. И незачем вбивать себе в голову, что добродетель ютится только в хижинах и никогда не заглядывает в каменные дома; должен признаться, меня раздражает эта ерунда, – уверяю тебя, род людской везде одинаков, будь то под соломенной кровлей или черепичной крышей, в каждом живом существе перемешаны и пороки, и добродетели, а уж чего больше – это определяется отнюдь не званием или положением; мне приходилось встречать негодяев среди богатых, и бедных, и среди людей среднего достатка, которые умеют довольствоваться малым. Но вот уже и шесть часов! Хватит болтать, Джо, пора звонить в колокол!

Была середина февраля: в шесть часов заря едва занималась, под ее бледными лучами плотный мрак ночи редел, переходя в полупрозрачную молочную мглу. В это утро заря была особенно бледной: восток не заалел, розовое сияние не согрело его. День медленно поднимал веки, мутным и скучным взглядом окидывал холмы, и вам уже не верилось, что может выглянуть солнце, что его не загасил ночной ливень. Дыхание утра было таким же холодным, как его лик. Сырой ветер разгонял ночные тучи, и, когда они разошлись, глазам открылся тускло-серебристый круг, опоясавший горизонт, и застланный пеленой тумана небосвод. Дождь перестал, но земля была еще совсем мокрая, лужи и ручейки набухли от воды.

Окна фабрики засветились, колокол зазвонил – и вот уже начали сбегаться детишки; будем надеяться, что в спешке они не успели очень прозябнуть в это неприветливое утро; но, быть может, оно показалось им не особенно суровым – они ходили на фабрику и в ливень, и в метели, и в трескучие морозы.

Мур стоял у ворот, считал их и пропускал во двор; тем, кто опаздывал, он делал замечание, а Джо Скотт, со своей стороны, добавлял два-три словечка покрепче, когда они входили в цех; однако ни хозяина, ни старшего мастера нельзя было упрекнуть в излишней суровости; ни тот, ни другой не были грубыми или жестокими людьми, хотя такое впечатление и могло создаться, ибо один опоздавший рабочий был оштрафован; Мур тут же у ворот взял с него пенни и предупредил, что в следующий раз взыщет вдвое.

В подобных случаях правила, разумеется, необходимы, и понятно, что чересчур строгие и жестокие хозяева вводят у себя чересчур строгие и жестокие правила, иногда даже и бесчеловечные, как это бывало в описываемое время; но хоть я и показываю характеры, далекие от совершенства (каждое лицо, выведенное в этом романе, будет страдать кое-какими недостатками, ибо перо мое отказывается рисовать идеальные образы), однако я не ставлю своей задачей показывать совсем уж скверных, порочных людей. Истязателей детей, мучителей и тиранов я препоручаю ведению тюремщиков; романист же вправе не пятнать страниц своей книги описанием их позорных деяний.

Итак, я не стану терзать моего читателя, поражая его воображение рассказами о бичеваниях и побоях, но рада буду сообщить ему, что ни Мур, ни его старший мастер ни разу не

ударили ребенка из числа работавших на фабрике. Правда, Джо однажды высек собственного сына за ложь и упорство во лжи; однако, будучи, как и его хозяин, человеком уравновешенным, спокойным и благоразумным, предпочитал избегать телесных наказаний.

Мур бродил по фабрике, заходя то в красильню, то на фабричный двор, то на товарный склад, до тех пор пока не рассвело. Но вот наконец взошло и солнце – бледное, бесцветное, словно ледяной шар, – оно показалось из-за темного гребня холма, слегка посеребрило тускло-свинцовый край плившего над холмом облака и словно нехотя заглянуло во все концы той лощины, или узкой долины, за которой мы с вами наблюдаем. Пробыло восемь часов; огни на фабрике погасли; прозвучал сигнал к завтраку; дети, освободясь на полчаса от своего тяжелого труда, принялись за еду; в корзиночках у них был хлеб, а в маленьких жестянках – кофе. Будем надеяться, что этот скудный завтрак утолит их голод, и очень жаль, если это не так.

Теперь наконец Мур покинул фабричный двор и направился к своему жилищу. Оно было расположено недалеко от фабрики, но живая изгородь и насыпь по обе стороны дорожки придавали ему вид уединенного, тихого уголка. Это был небольшой, чисто выбеленный домик с зеленым крыльцом; возле него, так же как и под окнами, вытянулись тонкие коричневые стебли вьющихся растений, еще совсем голые, но обещавшие одеться к лету пышной листвой и цветами. Перед домом расстилалась лужайка, были разбиты цветочные грядки, на их темных полосах кое-где в укромных уголках из земли уже пробивались первые ростки подснежника и изумрудно-зеленого крокуса. Весна в этом году была поздняя; зима была суровой и затяжной, последний снег сошел только перед ливнем прошлой ночью, и отдельные его клочья еще тускло белели кое-где на склонах холмов и на их вершинах; на лужайке, на пригорках и под живой изгородью трава была не сочно-зеленой, но блекло-желтой. Позади домика возвышались три стройных дерева, не особенно раскидистых, но так как у них не было соперников, то и они радовали взгляд и хоть немного украшали садик. Таким было жилье Мура; это уютное гнездышко, созданное для тихих радостей, для созерцательной жизни, показалось бы тесным человеку энергичному и честолюбивому.

Скромное, приятное жилье это, очевидно, не слишком привлекало к себе владельца; не входя в дом, Мур взял из-под навеса лопату и принялся работать в саду. С четверть часа он копал землю, когда вдруг отворилось окно и женский голос окликнул его:

– Eh bien! Tu ne d'jeunes pas ce matin?³⁴

Мур ответил тоже по-французски, и дальнейшая беседа между ними продолжалась на том же языке; однако я предпочитаю перевести тебе, читатель, их разговор.

– А завтрак готов, Гортензия?

– Конечно, уже с полчаса, как он тебя ждет.

– И я тоже жду; я голоден как волк.

Бросив лопату, Мур поднялся на крыльцо и узким коридором прошел в маленькую столовую, где был уже приготовлен завтрак – кофе, хлеб с маслом и отнюдь не английское блюдо – пареные груши. За столом хозяйничала дама, только что беседовавшая с ним. Я хочу описать ее, прежде чем продолжать повествование.

Эта особа высокого роста, в меру полная, выглядела чуть постарше Мура – ей было лет тридцать пять; у нее были очень темные волосы, накрученные на папильотки, румяные щеки, короткий нос и черные глазки-бусинки. Нижняя часть лица казалась тяжеловатой в сравнении с верхней, так как у нее был низкий лоб, изрезанный морщинами; выражение лица не то чтобы злое, однако несколько недовольное; в ее внешности было нечто забавное и вместе с тем раздражающее. Особенно нелепым был ее костюм – полотняная кофта в полоску и короткая шерстяная юбка, открывавшая до щиколоток не слишком изящные ноги.

³⁴ Ты что же, решил сегодня не завтракать? (фр.)

Читатель, тебе, конечно, показалось, что я вывела перед тобой неряху? Вовсе нет. Гортензия Мур (она приходилась Муру сестрой) была хозяйственной и аккуратной женщиной; юбка, кофта и папильотки составляли ее домашний утренний наряд, в котором она привыкла до полудня «заниматься хозяйством» на родине. Она не считала обязательным для себя одеваться на английский лад только потому, что вынуждена была жить в Англии; сохраняя верность старинным бельгийским модам, она ставила себе это в заслугу.

Мадемаузель была самого высокого мнения о своей особе, и нельзя утверждать, чтобы такое мнение было совершенно незаслуженным, – кое-какими хорошими и даже ценными качествами она обладала. Однако она несколько преувеличивала ценность этих качеств, не придавая никакого значения сопровождавшим их недостаткам. Вам не удалось бы убедить ее в том, что она – женщина ограниченная, не свободная от предрассудков, мелочно-обидчивая, слишком носится со своей собственной персоной, со своим достоинством, а ведь это было именно так. Но когда никто не оспаривал ее притязаний на изысканность и не оскорблял ее предрассудков, она становилась доброй и дружелюбной. К обоим своим братьям (кроме Роберта, у нее был еще один брат) она была очень привязана. Последние представители угасающего рода, оба они были для нее почти священны; Луи, однако, она знала гораздо меньше, чем старшего брата; еще совсем мальчиком он был отправлен в Англию и окончил там английскую школу. Ни по образованию, ни по природным склонностям он не годился в предприниматели, и когда рухнули его надежды на наследство и ему пришлось подумать о заработке, он избрал суровый и скромный путь учителя. Сперва он был репетитором в школе, а сейчас, по слухам, служил гувернером в частном доме. О Луи мадемаузель отзывалась как о человеке, не лишенном способностей, но чересчур робком и тихом; ее похвала Роберту звучала по-иному, без всяких оговорок, она гордилась им и считала его величайшим человеком в Европе: в ее глазах все его слова и поступки были достойны похвалы, и весь мир должен был разделять ее мнение. Ничто не может быть чудовищнее и постыднее, чем мешать Роберту в его делах, – разве что мешать ей самой.

И вот едва лишь ее любимый Роберт сел за стол, как она, положив ему на тарелку пареные груши и большой кусок сладкого пирога, принялась ахать и изливать свое негодование по поводу ночного происшествия.

– Quelle idee! Ломать машины! Quelle action honteuse! On voyait bien que les ouvriers de ce pays etaient b la fois bgtes et mechants. C’etait absolument comme les domestiques Anglais, les servantes surtout: rien d’insupportable comme cette Sarah, par exemple!³⁵

– Она производит впечатление опрятной и старательной девушки, – заметил Мур.

– Не знаю уж, какое она производит впечатление! Да я и не говорю, что она ленива или грязна, mais elle est d’une insolense!³⁶ Вчера, например, спорила со мною целых четверть часа насчет приготовления говядины; говорит, что я ее вывариваю и она становится как тряпка, что ни один англичанин не стал бы есть такое блюдо, как наша bouilli³⁷, что мой бульон – просто теплая мутная вода, а что касается choucroute³⁸, так ее и в рот не возьмешь! Бочонок, который стоит у нас в погребе, отлично приготовленный моими собственными руками, она называет свиным пойлом, помоями! Я измучилась с этой девчонкой, а прогнать ее не решаюсь – вдруг попадется еще худшая. Так-то вот и ты, мой бедный дорогой брат, бьешься со своими рабочими!

– Боюсь, что ты не очень хорошо чувствуешь себя в Англии, Гортензия.

³⁵ Подумать только! Позорный поступок! Сразу видно, что рабочие в этой стране глупы и злобны! Не лучше их и английские слуги, и в особенности служанки! Что может быть, например, невыносимее нашей Сары! (фр.)

³⁶ Но как она дерзка! (фр.)

³⁷ Вареная говядина (фр.).

³⁸ Кислая капуста (фр.).

– Мой долг, дорогой брат, чувствовать себя хорошо там, где находишься ты; если бы не это, многое заставило бы меня пожалеть о нашем родном городе. По-моему, люди здесь дурно воспитаны, они позволяют себе насмехаться над моими привычками: если работница с твоей фабрики, зайдя иной раз к нам на кухню, застаёт меня за стряпней (ты же знаешь, я не могу доверить Саре ни одного блюда), она позволяет себе усмехаться при виде моей кофты и юбки. А если я принимаю приглашение и еду в гости, как это было раза два-три, я замечаю, что на меня не обращают внимания, мне не оказывают должного уважения. Представительница таких достойных семей, как Жерары и Муры, вправе требовать к себе уважения и, не видя его, чувствовать себя задетой. В Антверпене ко мне относились почтительно! Здесь же стоит мне открыть рот в обществе, как все начинают переглядываться, словно я скверно говорю по-английски, а ведь я-то знаю, что мое произношение безупречно.

– Не забывай, Гортензия, что в Антверпене мы слыли богачами; в Англии нас считают бедняками.

– Разумеется, но до чего же люди корыстолюбивы! Помнишь, мой друг, в прошлое воскресенье лил дождь, и я, отправляясь в церковь, надела свои опрятные черные сабо, – в них, конечно, неудобно выйти на улицу большого города, но нет ничего предосудительного в том, чтобы шлепать в них по грязи здесь, – и вот, когда я спокойно и с достоинством, по своему обыкновению, вошла в церковь, четыре дамы и четыре джентльмена фыркнули и уткнулись носами в молитвенники.

– Ну что ж, не надевай больше сабо... Я и раньше говорил тебе, что здесь это не принято.

– Но, брат, это не простые сабо, какие носят крестьяне. Это *sabots noirs, trfs-propres, trfs-convenables*³⁹. Весьма почтенные жители городов Монс и Лёз, расположенных неподалеку от такой элегантной столицы, как Брюссель, в зимнюю пору чаще всего надевают именно такие башмаки. Пусть бы кто отважился походить по грязи фламандских дорог в парижских ботинках, *on m'en dirait des nouvelles*⁴⁰.

– Что нам теперь Монс и Лёз и фламандские дороги! С волками жить – по-волчьи выть, и мне кажется, тебе не следует носить здесь кофту и юбку. Я что-то не видел, чтобы английские дамы так одевались. Спроси хотя бы Каролину Хелстоун.

– Каролину? Мне спрашивать Каролину? Советоваться с ней насчет моих платьев? Это она должна во всем со мной советоваться – она еще совсем девочка.

– Ей восемнадцать или, во всяком случае, семнадцать лет. В этом возрасте девушки уже знают, как надо одеваться.

– Нет уж, прошу тебя, брат, не балуй Каролину. Не нужно, чтобы она о себе возомнила; сейчас она скромна и непритязательна, пусть такой и останется.

– Это и мое желание. А сегодня ты ее ждешь?

– Да, как всегда, к десяти часам, на урок французского языка.

– Она-то, надеюсь, не смеется над тобой?

– Нет, она уважает меня больше, чем кто бы то ни было; правда, у нее была возможность ближе познакомиться со мной. Она убедилась, что я умна, образованна, справедлива, обладаю хорошими манерами и всеми достоинствами настоящей дамы из порядочной семьи.

– И ты ее любишь?

– Люблю? Этого я не могу сказать. Я не из тех, кто способен на пылкие чувства, но зато на мою дружбу всегда можно положиться. Она мне родственница, и я отношусь к ней с участием; как сирота, она вызывает мое сострадание, да и поведение ее на уроках до сих пор было таково, что могло только увеличить мою зародившуюся симпатию к ней.

– Она хорошо себя ведет на уроках?

³⁹ Это черные башмаки, вполне приличные (фр.).

⁴⁰ Воображаю, как он будет выглядеть (фр.).

– Очень хорошо. Ты знаешь, я умею пресекать фамильярность, внушать к себе уважение и почтение! Но я проницательна и вижу, что Каролина отнюдь не безупречна; характер ее оставляет желать лучшего.

– Налей мне еще кофе и, пока я буду пить, позабавь меня рассказом о ее недостатках.

– Дорогой брат, как я рада, что ты завтракаешь с аппетитом после столь утомительной ночи! Что и говорить, у Каролины есть недостатки, но при моей чуть ли не материнской заботе и твердом руководстве она, надо надеяться, исправится. Есть в ней какая-то скрытность, и это мне не нравится: девушке подобает быть кроткой и покорной. И потом, я замечаю в ней излишнюю восторженность, и это тоже меня раздражает. Но чаще всего она тиха, даже задумчива и печальна. Надеюсь, что со временем мне удастся выработать в ней более ровный, степенный характер и искоренить эту непонятную задумчивость. Все непонятное я не одобряю.

– Должен сказать, я ничего не понял. Что ты подразумеваешь под излишней восторженностью?

– Лучше всего, пожалуй, объясню примером: иногда, как тебе известно, для улучшения произношения я заставляю ее декламировать французские стихи. На таких уроках я познакомила ее с Корнелем и Расином, и она изучила их вдумчиво, с похвальным благонаравием, которое я постоянно стараюсь ей привить; но иногда она вдруг делается вялой, на лице у нее появляется скучающее выражение, а я не терплю равнодушия в тех, кому посчастливилось учиться у меня; кроме того, неприлично выказывать скуку, изучая классические произведения. На днях я вручила ей томик стихов малоизвестных поэтов и предложила сесть у окна и выучить что-нибудь наизусть. Когда же я вскоре взглянула на нее, она нетерпеливо листала книгу, пробежала глазами строчки, и губы ее презрительно кривились. Я сделала ей выговор. «*Ma cousine, –* ответила она, *– tout cela m'ennuie b la mort*»⁴¹. Я заметила, что так говорить неприлично. «*Dieu! Il n'y a donc pas deux lignes de poesie dans toute la literature francaise!*»⁴² – воскликнула она. Я осведомилась, что она хочет этим сказать. Она попросила прощения с должной скромностью, притихла и продолжала читать, улыбаясь иногда своим мыслям. Спустя полчаса она подошла ко мне, вернула книгу и, сложив руки, как я всегда ее учила, принялась декламировать небольшое стихотворение из Шенье, «*La Jeune Captive*»⁴³. Если бы ты только слышал, с каким пылом она читала и какие невразумительные суждения высказывала потом, тебе стало бы понятно, что я подразумеваю, говоря об «излишней восторженности»; можно было подумать, что Шенье способен волновать гораздо глубже, чем Корнель или Расин. Ты человек проницательный и, конечно, согласишься, что такое нелепое предпочтение говорит о неуравновешенности. К счастью, у нее есть хорошая наставница; я научу ее понимать литературу, привью правильные взгляды и хороший вкус. Я научу ее владеть своими чувствами и руководить ими.

– Научи, Гортензия, непременно научи. Но вот как будто и она сама.

– Ты прав, – однако она пришла на полчаса раньше, чем всегда. Что это ты так рано, дитя мое? Я еще не успела позавтракать.

Слова эти были обращены к девушке, появившейся в комнате; зимняя накидка, падавшая изящными складками, скрывала ее стройную фигуру.

– Мне не терпелось узнать, как вы оба себя чувствуете. Вы, должно быть, расстроены тем, что случилось ночью? Дядя сейчас за завтраком рассказал мне обо всем.

– Не правда ли, какая неслыханная наглость! Так ты нам сочувствуешь? И дядя твой тоже нам сочувствует?

– Дядя возмущен. Но ведь он ездил с вами, Роберт, на пустошь в Стилбро?

⁴¹ Кузина, все это смертельно скучно (фр.).

⁴² Господи! Неужели во всей французской литературе нет и двух строчек настоящей поэзии! (фр.)

⁴³ «Молодая узница» (фр.).

– Ну как же! Мы с ним отправились туда в самом воинственном настроении; но пленники, которых мы собрались выручать, встретились нам по дороге.

– Никто не пострадал?

– Нет, только у Джо на руках были ссадины от веревок, которыми его скрутили.

– А вас там не было? Вы не присутствовали при нападении?

– Увы! Человеку редко выпадает удача находиться там, где следовало бы!

– А куда вы едете сейчас? Мёргатройд седлает вашу лошадь во дворе.

– В Уинбери. Сегодня базарный день.

– Мистер Йорк тоже отправился туда. Он проехал мимо меня в своей двуколке. Вот бы вам и вернуться вместе!

– Почему?

– Вдвоем всегда лучше, чем одному; кроме того, никто не питает вражды к мистеру Йорку, уж во всяком случае, не бедняки.

– Следовательно, я буду как бы под охраной, я, которого все ненавидят?

– Скорее не понимают, это, пожалуй, будет вернее. Вы поздно вернетесь? Он поздно приедет, Гортензия?

– По всей вероятности – у него всегда много деловых встреч в Уинбери; ну а ты, девочка, принесла свою тетрадь?

– Да. Когда же вы вернетесь, Роберт?

– Обычно я возвращаюсь часам к семи. А вам хочется, чтобы я вернулся пораньше?

– Постарайтесь быть дома засветло – часам к шести; в семь уже темнеет.

– А чего я должен опасаться, Каролина? Что угрожает мне в темноте?

– Я и сама толком не знаю, но все мы сейчас тревожимся за друзей. Дядя часто говорит, что сейчас время беспокойное, что фабрикантов здесь не любят.

– И я один из самых нелюбимых, не так ли? Вы не хотите говорить открыто, а в глубине души опасаетесь, что я разделю участь Пирсона! Но ведь он погиб у себя в доме – пуля влетела в окно в ту минуту, когда он поднимался по лестнице в спальню.

– Энн Пирсон показывала мне пулю, застрявшую в двери, – печально сказала Каролина, складывая на столике у стены свою накидку и муфту. – Не забывайте, что вдоль всей дороги до Уинбери тянется живая изгородь, а возле Филлхеда вам придется ехать через рощу. Возвращайтесь к шести часам или еще раньше.

– Он вернется раньше, – заявила Гортензия. – Ну-с, девочка, теперь повторяй свои уроки, а я тем временем замочу горох для супа...

И она вышла из комнаты.

– Так вы считаете, что я нажил себе много врагов, – заметил Мур, – и уверены, что друзей у меня нет?

– Это неверно; у вас есть друзья, Роберт, – ваша сестра, ваш брат Луи, еще не знакомый мне, мистер Йорк, мой дядя да и многие другие.

– Вам, наверное, трудно было бы назвать этих «многих других», – с улыбкой возразил Мур. – Покажите-ка мне лучше свою тетрадь. Ого, да вы старательная в чистописании! Вероятно, сестра моя требовательна и строга; она старается сделать из вас примерную фламандскую школьницу. Что-то ждет вас в жизни, Каролина? Пригодится ли вам французский язык, рисование да и все, чему вы еще обучитесь!

– Вы правильно сказали – чему я обучусь; что скрывать – пока Гортензия со мной не занималась, мои знания были весьма скудными; а что ждет меня – не знаю, наверное, буду хозяйничать в доме дяди до тех пор, пока...

Она замялась и умолкла.

– Пока что? Пока он не умрет?

– Ах, что вы! Нехорошо так говорить! У меня этого и в мыслях не было, ведь ему всего пятьдесят пять лет. Нет, до тех пор пока... пока у меня не появятся другие обязанности.

– Весьма неопределенное будущее! И оно вас удовлетворяет?

– Прежде удовлетворяло. Дети, как известно, ни над чем не задумываются, а живут только в своем особом фантастическом мире. Но теперь мне этого уже недостаточно.

– Почему?

– У меня нет денег, я ничего не зарабатываю.

– Ах вот оно что, Лина, и вам тоже хочется зарабатывать деньги?

– Да, мне хотелось бы работать; будь я мальчиком, все было бы проще, я могла бы с легкостью научиться настоящему делу и проложить себе дорогу в жизни.

– Любопытно – что же это за дорога?

– Я могла бы научиться вашему ремеслу, ведь вы все-таки мой родственник и не отказались бы обучить меня кое-чему. Я бы вела конторские книги и переписку во время ваших отлучек. Я знаю, вы стремитесь разбогатеть и выплатить долги вашего отца, вот я и помогла бы вам нажать состояние.

– Помогли бы мне? Вам следовало бы думать о самой себе.

– Я так и делаю. Но неужели люди должны думать только о себе?

– О ком же еще думать? О ком я смею думать? Бедные не должны быть щедры на чувства, им следует их ограничивать.

– Нет, Роберт...

– Да, Каролина. В бедности поневоле становишься эгоистичным, мелочным, вечно недовольным. Бывает, правда, что сердце бедняка, согретое лучами любви, готово пустить свежие побеги, подобно вешней зелени в саду; оно чувствует, что для него настала пора одеться молодой листвой, может быть, расцвести, но бедняк не смеет поддаваться оболыщению, он обязан воззвать к благоразумию, которое своим холодным, как северный ветер, дыханием заморозит это цветение.

– Что же, в хижинах счастье невозможно?

– Видите ли, я имею в виду не привычную бедность рабочего, но стесненное положение человека в долгах. Образ промышленника, живущего в неослабной борьбе и напряжении, изнемогающего от забот, всегда стоит перед моим взором.

– Забудьте о своих тревогах, надейтесь на удачу; вас слишком неотвязно терзают одни и те же мысли. Не сердитесь на мою смелость, но мне кажется, что ваше представление о счастье не совсем правильно, так же как не совсем правильно, не совсем справедливо...

Она замялась.

– Я слушаю вас внимательно.

– Ваше обращение (смелее! надо же сказать правду!), не отношение, а именно обращение со здешними рабочими...

– Вам давно хочется поговорить со мной об этом, Каролина?

– Давно.

– Я, может быть, несколько суров с ними, но это оттого, что сам я человек молчаливый, замкнутый, мрачный, а вовсе не от гордости. Да и мне ли гордиться в моем положении?

– Но ваши рабочие – это живые люди, а не бездушные предметы, как ваши станки и стригальные машины. Со своими вы ведь совсем другой.

– Для своих я не чужеземец, каким меня считают йоркширские мужланы. Я мог бы, конечно, разыгрывать из себя доброжелателя, но притворство не мое forte⁴⁴. Я считаю их неразумными и тупыми; они чинят всевозможные препятствия на моем пути к успеху. Я обращаюсь с ними по справедливости – как они того заслуживают.

⁴⁴ Сильная сторона (ит.).

- Тогда трудно рассчитывать, что вы завоюете их расположение!
- Я к этому не стремлюсь.
- Увы!

Юная наставница тяжело вздохнула и покачала головой; видно было, что ей очень хочется в чем-то убедить своего кузена, но она бессильна это сделать. Склонив голову над грамматикой, она принялась искать урок, заданный ей на сегодня.

– Боюсь, что я не особенно добрый и привязчивый человек, Каролина. Мне достаточно привязанности немногих.

– Роберт, не будете ли вы так любезны очинить мне два-три перышка?

– Пожалуйста, и вдобавок разлиную вам тетрадку, а то у вас строчки всегда ложатся косо... Вот так... теперь давайте перья. Вам очинить их тонко?

– Как вы всегда чините для меня и Гортензии; не с широкими концами, как для себя.

– Будь я учителем, как Луи, я остался бы дома и посвятил бы все утро вам и вашим занятиям. А мне придется провести весь день на складе шерсти Сайкса.

– Но вы заработаете много денег.

– Скорее потеряю их.

Когда он кончил чинить перья, к калитке подвели оседланную и взнузданную лошадь.

– Вот и Фред уже меня ждет, пора идти; посмотрю только, как в нашем садике хозяйничает весна.

Он вышел в сад. Там, у фабричной стены, на солнце расцветала ласкающая взгляд полоса свежей зелени и цветов – подснежники, крокусы, даже примулы. Мур нарвал букетик, вернулся в гостиную, достал из рабочей шкатулки сестры шелковинку, перевязал его и положил на письменный стол перед Каролиной.

– Всего хорошего!

– Спасибо, Роберт, какая прелесть! На цветах словно сверкают еще отблески солнца и лазурного неба! Всего хорошего!

Мур направился к выходу. Внезапно он остановился в дверях, как бы собираясь что-то сказать, но так ничего и не сказал; потом вышел за калитку и уже сел было на лошадь и вдруг соскочил с седла, бросил поводья Мёргатройду и вернулся в комнату.

– Я забыл взять перчатки, – заметил он, подойдя к столику у двери. – Кстати, вас ждут сегодня вечером какие-нибудь неотложные дела, Каролина? – добавил он как бы между прочим.

– У меня их не бывает; я обещала, правда, связать детские носочки для благотворительной корзинки по просьбе миссис Рэмсен, но это может подождать.

– Ох уж эта корзинка!.. Название, правда, ей дано подходящее, нельзя и представить себе ничего более благотворительного, чем ее вещицы и цены; по вашей лукавой улыбке я вижу, что вы и сами это понимаете. Итак, забудьте о вашей корзинке и оставайтесь на весь день у нас. Это немного развлечет вас, а дядюшка, надеюсь, не заплачет в одиночестве.

Каролина улыбнулась.

– Разумеется, нет.

– Что ему сделается, старому вояке! – пробормотал Мур. – Словом, оставайтесь у нас; пообедайте с Гортензией, ей это будет приятно, а я вернусь сегодня пораньше, и вечером мы почитаем вслух. Луна восходит в половине девятого, и в девять я провожу вас домой. Согласны?

Она кивнула головой, и глаза ее вспыхнули радостью.

Мур помедлил еще немного. Он наклонился над письменным столом и заглянул в грамматику Каролины, повертел в руках перо, затем букет; у ворот лошадь от нетерпения била копытом; Мёргатройд покашливал и кричал у калитки, недоумевая, что могло задержать его хозяина.

– Всего хорошего, – повторил Мур и наконец ушел.

Минут десять спустя вошла Гортензия и очень удивилась, увидев, что Каролина даже не раскрыла учебника.

Глава VI. Кориолан

Ученица Гортензии была в то утро на редкость рассеянной. Она поминутно забывала объяснения своей наставницы и со смиренным видом выслушивала вполне заслуженные выговоры. Она сидела у окна, залитая лучами солнца, которое, казалось, дарило ей вместе с теплом и частицу светлой радости, – оттого-то она и выглядела такой счастливой и кроткой. В эту минуту нельзя было не залюбоваться ею.

Природа не обидела эту девушку красотой. Чтобы полюбить ее, не требовалось долгое знакомство, она с первого взгляда располагала к себе. Девически стройная, гибкая и легкая фигурка поражала изяществом и соразмерностью линий; лицо было нежное и выразительное, тонко очерченный рот, бархатистая кожа; прекрасные большие глаза излучали сияние, проникавшее в душу человека и будившее теплое чувство. Она красиво причесывала свои густые шелковистые каштановые волосы, – локоны рассыпались по плечам в живописном беспорядке, что очень шло ей, – и одевалась со вкусом. Каролина не гналась за модой, но ее непритязательные, сшитые из недорогих тканей платья хорошо сидели на ее тонкой фигурке и по тону гармонировали с нежным цветом лица. Сейчас на ней было зимнее шерстяное платье того же оттенка, что и каштановые волосы; его украшала только розовая лента, подложенная под небольшой круглый воротничок и спереди завязанная бантом.

Вот вам портрет Каролины Хелстоун. Что касается свойств ее ума и характера, то они проявятся в свое время.

Историю ее жизни можно рассказать в двух словах. Родители Каролины вскоре после рождения дочери расстались из-за несходства характеров. Мать ее приходилась сводной сестрой отцу Мура, так что Каролина считалась родственницей Роберта, Луи и Гортензии, хотя кровного родства между ними не было. Отец ее, брат Хелстоуна, был из тех людей, о которых их близкие предпочитают не вспоминать, после того как смерть разрешит все земные споры. Жена была несчастлива с ним. Слухи о его семейной жизни, вполне правдивые, придали вид достоверности ложным слухам, ходившим о его брате, – человеке куда более добропорядочном. Каролина совсем не знала своей матери, она была увезена от нее в младенчестве и с тех пор ни разу ее не видала. Отец ее умер сравнительно молодым, и вот уже несколько лет ее единственным опекуном был дядя, мистер Хелстоун. Однако ни по складу характера, ни по привычкам он не годился в воспитатели юной девушке; он мало заботился о ее образовании, да, пожалуй, и вовсе не позаботился бы, если бы она сама, видя, что никто ею не занимается, не встревожилась и не попросила дядю дать ей возможность приобрести хоть какие-нибудь знания. Каролине было грустно сознавать, что она невежественна, менее образованна, чем девушки ее круга, и, когда приехала ее родственница Гортензия Мур, она с радостью воспользовалась любезным предложением научить ее французскому языку и рукоделию. Мадемаузель Мур тоже была довольна – эти занятия придавали ей вес; кроме того, ей нравилось командовать послушной и понятливой ученицей. Мнение Каролины о себе самой как о неразвитой и даже невежественной девушке она полностью разделяла и потому, видя, что ученица ее делает большие успехи, приписала это отнюдь не ее способностям и усердию, а только своему умению преподавать; даже обнаружив, что Каролина, не получившая систематического образования, все же обладает довольно разнообразными, хотя и случайными познаниями, она не удивилась, ибо решила, что девушка, сама того не замечая, почерпнула эти ценные крупинки знания от нее же – из бесед; она продолжала так думать даже после того, как обнаружилось, что ученице известно о некоторых предметах много больше, чем самой наставнице; это было уже совсем нелогично, но разуверить Гортензию никому бы не удалось.

Мадемуазель гордилась своим *esprit positif*⁴⁵ и питала пристрастие к сухому методу обучения, который она неукоснительно применяла, занимаясь со своей юной кузиной. Она заставляла ее усердно зубрить французскую грамматику и заниматься бесконечными *analyses logiques*⁴⁶, самым полезным, по ее мнению, упражнением в языке. Все эти «*analyses*» основательно докучали Каролине; ей казалось, что отлично можно было бы изучить французский язык, не тратя столько времени на *propositions principales et incidentes*⁴⁷ и прочие тонкости французского синтаксиса. Иногда, совсем запутавшись, она отправлялась за советом к Роберту (без ведома Гортензии, которая нередко чуть не полдня просиживала у себя наверху, неизвестно зачем роясь в комодах, раскладывая, укладывая и перекладывая свои вещи), и все непонятное сразу становилось ясным. Мур обладал ясным логическим умом; стоило ему заглянуть в книгу – и маленьких трудностей как не бывало; в одну минуту он все объяснял, в двух словах разрешал все загадки. «Вот если бы Гортензия так преподавала, – думала Каролина, – насколько быстрее можно было бы все узнать!» Поблагодарив кузена улыбкой, полной восхищения и благодарности, и, как всегда, не поднимая глаз, Каролина неохотно возвращалась в белый домик и, заканчивая упражнение или решая задачу (мадемуазель Мур преподавала ей и арифметику), досадовала, что не родилась мальчиком, – Роберт взял бы ее тогда в помощники и сидела бы она около него в конторе, вместо того чтобы сидеть с Гортензией в гостиной.

Иногда, правда очень редко, она проводила в домике целый вечер. Однако Мур не всегда бывал с ними: он уезжал на базар или к мистеру Йорку или сидел в соседней комнате, занятый деловым разговором с посетителем; но когда он бывал свободен, то посвящал свой досуг Каролине. Тогда вечерние часы пролетали быстро, словно на светлых крыльях, увы, слишком быстро.

Во всей Англии не найти было уголка приятнее этой гостиной, когда в ней собирались Каролина, Гортензия и ее брат. Гортензию в те минуты, когда она не преподавала, не сердилась, не стряпала, нельзя было назвать женщиной неприятной. К вечеру она обычно становилась добрее и обращалась ласковее со своей молоденькой родственницей-англичанкой; если же ее просили спеть что-нибудь под аккомпанемент гитары, она и совсем смягчалась и приходила в прекрасное расположение духа; к тому же играла она неплохо и обладала приятным голосом, так что слушать ее можно было с некоторым удовольствием, – именно некоторым, ибо присутий ей церемонный и натянутый вид и тут не оставлял ее и портил впечатление.

Мур, отдыхая от обычных забот, хотя и не казался особенно оживленным, но с удовольствием смотрел на Каролину, слушал ее болтовню, охотно отвечал на ее вопросы. Каролине доставляло удовольствие быть около него, сидеть рядом с ним, говорить и даже просто смотреть на него; а если ему случалось развеселиться, то он становился почти приветливым, внимательным и любезным.

К сожалению, на следующее же утро он снова замыкался в себе. По-видимому, эти тихие семейные вечера были ему по душе, но он почти никогда не высказывал желания повторить их. Это очень озадачивало его неискушенную кузину. «Если бы у меня была возможность доставлять себе радость, я бы делала это как можно чаще, пользуясь любым случаем», – говорила она себе.

Однако сама она не решалась следовать этому правилу; как ни радовали ее вечера, проведенные в белом домике, она никогда не ходила туда без приглашения. И даже если ее приглашала Гортензия, а Роберт не поддерживал сестру или поддерживал, но не очень настойчиво, девушка отказывалась. Сегодня же утром он впервые сам предложил ей остаться; вдобавок

⁴⁵ Положительный ум (фр.).

⁴⁶ Логический разбор (фр.).

⁴⁷ Предложения главные и придаточные (фр.).

он так ласково говорил с ней, что Каролина почувствовала себя счастливой, и это счастливое настроение не покидало ее весь день.

Утро прошло как обычно: Гортензия хлопотливо бегала из кухни в столовую и обратно, то отчитывая Сару, то проверяя упражнения, заданные Каролине. Но даже если девушка безупречно знала урок, она никогда ее не хвалила, придерживаясь правила, что уважающей себя учительнице не подобает хвалить ученицу и что необходимо всегда бранить ее; мадемуазель Мур полагала, что бесконечные замечания только укрепляют авторитет преподавателя, и, если в ответе ученицы нельзя было обнаружить ни одной ошибки, она находила изъяны в ее манере держаться, наружности, одежде или выражении лица.

Обычная сцена разразилась по поводу обеда, когда Сара, внеся наконец суповую миску, в сердцах чуть не бросила ее на стол, всем своим видом как бы говоря: «В жизни не подавала такой гадости! Собаки и те есть не станут!» Однако обед, столь презираемый Сарой, был довольно вкусен; на первое суп-пюре из сушеного гороха, который мадемуазель готовила, непрерывно сетуя на то, что в этой несчастной Англии не найти белых бобов. На второе мясо, неизвестно какое, – вероятно, смесь, – перемешанное с кусочками хлеба, запеченное в тесте и своеобразно, но вкусно и остро приправленное; это замысловатое блюдо, поданное с гарниром мелко нарубленной зелени, отнюдь не было несъедобным. Обед завершал пирог с вареньем, приготовленный на патоке вместо сахара по особому рецепту, унаследованному госпожой Жерар Мур от ее бабушки.

Каролина охотно ела эту бельгийскую стряпню, столь непохожую на ее обычный стол; и хорошо, что это было так, – выкажи она неодобрение, она навсегда лишилась бы благосклонности Гортензии, которая простила бы что угодно, только не отвращение к своему национальному блюду.

После обеда Каролине удалось уговорить свою наставницу подняться наверх и переодеться, однако это потребовало умелого подхода. Намекнуть, что папильотки, юбка и блуза отнюдь не украшают женщину и что их нужно снять, было бы непростительной ошибкой и только привело бы к обратному: Гортензия из упрямства не снимала бы их весь день. Осторожно обходя все подводные камни и водовороты, Каролина под благовидным предлогом увела свою наставницу наверх, в спальню, и убедила ее переодеться, чтобы не подниматься вторично; и, пока мадемуазель произносила торжественную проповедь в осуждение женских прихотей по части нарядов, ставя себе в заслугу свое пренебрежение к капризам моды, Каролина сняла с нее блузу, облачила ее в приличное платье, прикрепила воротничок, приладила волосы и превратила в довольно благообразную женщину. Однако Гортензия настойчиво пожелала сделать завершающие штрихи сама, а эти завершающие штрихи в виде плотной косынки, завязанной под самым горлом, и большого черного, как у служанки, фартука сразу все испортили. Мадемуазель ни под каким видом не соглашалась показываться в своем собственном доме без этой плотной косынки и широченного фартука: первая была атрибутом строгой нравственности – она считала неприличным ходить с открытой шеей, второй – отличительным признаком хорошей хозяйки, – она как будто и вправду верила, что, нося фартук, экономит деньги своего брата. Гортензия преподнесла Каролине косынку и фартук, сшитые своими руками; и единственная серьезная ссора между кузинами, оставившая неизгладимую обиду в душе старшей, возникла из-за того, что младшая отвергла эти изысканные подарки.

– Я ношу закрытые платья с воротничками и совсем задохнусь, если надену еще и косынку; а мои короткие фартучки ничуть не хуже, чем этот длинный, и мне не хочется их менять.

Упрямая мадемуазель Мур, безусловно, настояла бы на своем, заставив Каролину одеваться по своему вкусу, если бы ее брат, случайно услышав их разговор, не вмешался, заявив, что, по его мнению, Каролине вполне подходят ее короткие фартуки и что ей, совсем еще девочке, незачем носить косынку, тем более что ее длинные локоны закрывают плечи.

Мнение Роберта было законом, и сестра уступила скрепя сердце; но втайне она не одобряла кокетливые, опрятные платья Каролины, так же как и женственное изящество ее облика; побольше простоты, побольше степенности – вот что было, по ее мнению, *beaucoup plus convenable*⁴⁸.

После обеда дамы занялись шитьем. Мадемуазель, как и большинство бельгийских дам, была искусной рукодельницей. Бесчисленные часы, посвященные тонким вышивкам, утомительному для глаз плетению кружев, затейливой вязке или больше всего искусной штопке чулок, не представлялись ей потерей времени. Она могла просидеть целый день за штопкой двух-трех дырочек и, заштопав их, чувствовать, что ее миссия достойно выполнена. Для Каролины же было сущей мукой обучаться этой сложной манере штопанья и аккуратно класть стежок за стежком, подражая ткани чулка; это утомительнейшее занятие считалось как самой Гортензией, так и всеми ее предками по женской линии одной из первых обязанностей женщины. Ей и самой еще в ту пору, когда она носила детскую *coif*⁴⁹ на темной головке, дали в руки изорванный чулок, штопальную иглу и нитки; когда ей было всего лишь шесть лет, ее мать с гордостью показывала дамам *hauts faits*⁵⁰ дочери по части штопки, и, естественно, что, обнаружив полное невежество Каролины в столь важном искусстве, она готова была заплакать от жалости к несчастной девушке, воспитанием которой столь преступно пренебрегали.

Не теряя времени, она извлекла никуда не годную пару чулок с начисто сношенными пятками и засадила свою родственницу за починку; но, хотя с того знаменательного дня прошло уже целых два года, эта пара чулок все еще не покинула рабочей сумочки Каролины. Делая по несколько рядов каждый день, она видела в этом занятии наказание за свои грехи и не раз уже готова была бросить чулки в огонь; однажды Мур увидел, как она томится и вздыхает над ними, и предложил тайно предать их сожжению у себя в конторе, но Каролина понимала, что это не поможет, – Гортензия тотчас же найдет новую, быть может, еще более сношенную пару, а потому лучше из двух зол выбрать меньшее.

Обе женщины просидели за шитьем немало часов; наконец у младшей устали глаза и пальцы и она вся поникла. Небо во второй половине дня заметно потемнело; пошел проливной дождь. Каролину втайне терзала тревога, что Сайкс или Йорк уговорят Мура подождать в Уинбери, пока не пройдет дождь, а он лил все сильнее. Вот уже пробило пять часов, стрелка двинулась дальше, а дождь все не переставал; в ветвях деревьев, осенявших крышу дома, шелестел ветер. Сгущались сумерки, огонь в камине горел багровым пламенем.

– Теперь не прояснится, пока не взойдет луна, – заметила мадемуазель Мур, – значит, брат до тех пор не вернется, да и незачем ему возвращаться. Давай-ка пить кофе, ждать его бесполезно.

– Я устала, можно мне теперь отложить работу?

– Конечно, уже стемнело, и ты все равно не сможешь делать ее как следует. Положи шитье аккуратно в сумочку да пойди на кухню и попроси Сару принести *gowter*.

– Но ведь шести часов еще нет. Роберт может и приехать.

– Не приедет он, говорю тебе. Я всегда предвижу, как он поступит, уж я знаю своего брата.

Всем известно, как тягостна неопределенность и как горько разочарование. Каролина послушно направилась на кухню. Сара, сидя у стола, шила платье.

– Вас просят принести кофе, – безучастно сказала молодая девушка; она под села к кухонному столу, склонила голову и замерла.

– Что это вы такая грустная, мисс? Ваша кухня совсем замучила вас работой. Как ей только не стыдно!

⁴⁸ Гораздо приличнее (фр.).

⁴⁹ Шапочку (фр.).

⁵⁰ Искусство (фр.).

– Вовсе нет, Сара! – коротко ответила Каролина.

– Как бы не так. Вот вы готовы заплакать, и все потому, что просидели не сходя с места целый день. И котенок бы затосковал, если бы его держали взаперти.

– Сара, в непогоду ваш хозяин, наверное, задерживается в городе?

– Да, почти всегда. Но только не сегодня.

– Что вы хотите сказать?

– А то, что он уже вернулся. Сама видела минут пять тому назад, когда ходила за водой, как Мёргатройд вел его лошадь во двор. Сейчас он, кажется, в конторе с Джо Скоттом...

– Да вы ошиблись...

– С чего это мне ошибаться? Разве я не знаю его лошадь?

– Но вы не видели его самого?

– Нет, зато слышала его голос. Он говорил Джо Скотту, что уже насчет всего распорядился и не пройдет и недели, как на фабрику придут новые машины, и что на этот раз он потребует для их охраны четырех солдат из гарнизона Стилбро.

– Сара, это вы платье шьете?

– Да, хорошо получается?

– Превосходно! Вот что: вы готовьте кофе, а я скрою вам этот рукав. У меня найдется и отделка, – узенькая атласная ленточка подходящего цвета, – я ее вам подарю.

– Вы очень добры, мисс.

– Поторопитесь, милая; но сперва поставьте к огню его туфли, он, конечно, захочет снять сапоги. Вот и он, я слышу его шаги.

– Мисс, да вы не так кроите!

– Верно, верно, но я только еще надрезала, ничего страшного.

Дверь в кухню отворилась, и вошел Мур, промокший и озябший. Каролина оторвалась было от материи, но сейчас же опять склонилась над работой, словно хотела скрыть лицо и придать ему спокойное выражение; однако это ей не удалось, и, когда глаза их встретились, она вся сияла радостью.

– А мы вас уже не ждали, меня уверили, что вы задержитесь.

– Но я обещал вам вернуться пораньше, и уж вы-то, надеюсь, меня ждали?

– Нет, Роберт, и я уже отчаялась, ведь шел такой дождь. Но вы промокли, озябли, скорее переоденьтесь; если вы простудитесь, я... мы все будем виноваты.

– Я не промок, ведь я был в плаще. Все, что мне нужно, – это сухие туфли... До чего же приятен огонь после того, как проедешь несколько миль под дождем и ветром.

Мур стоял рядом с Каролиной у плиты, грелся, наслаждаясь благодатным теплом, и смотрел на медную посуду, блестящую на полке. Случайно опустив взгляд, он увидел покрасневшее личико, обрамленное шелковистыми прядями волос, сияющие от счастья лучистые глаза. Сары в эту минуту в кухне не было – она понесла поднос в гостиную и теперь выслушивала там очередной выговор хозяйки.

Мур положил руку на плечо кузины, наклонился к ней и поцеловал в лоб.

– Ах, – вырвалось у нее, словно этот поцелуй придал ей смелости, – я чувствовала себя такой несчастной, когда думала, что вы не приедете. Зато теперь я счастлива! А вы счастливы, Роберт? Вам приятно возвращаться домой?

– Да, – во всяком случае, сегодня.

– Вы в самом деле не думаете больше о машинах, о делах, о войне?

– Сейчас нет.

– Значит, вам уже не кажется, что ваш домик слишком тесен и беден для вас?

– В эту минуту нет.

– И вас уже не печалит мысль, что богатые и влиятельные люди забыли вас?

– Хватит, Лина. Вы напрасно думаете, что я добиваюсь милостей сильных мира сего. Мне нужны только деньги, прочное положение, успех в делах.

– Вы всего добьетесь своими достоинствами и талантом. Вам суждено стать большим человеком – и вы им станете!

– Если вы говорите от чистого сердца, то укажите мне способ достичь такого благополучия. Впрочем, я и сам знаю этот способ не хуже вас, но выйдет ли что из моих усилий? Боюсь, что нет!.. Мой удел – бедность, невзгоды, банкротство. Жизнь совсем не такая, какой она представляется вам, Лина.

– Но вы такой, каким мне кажется.

– Нет, не такой.

– Значит, лучше?

– Гораздо хуже.

– Нет, лучше, я знаю: вы хороший.

– Откуда вам это известно?

– Я вижу это по вашему лицу; и я чувствую, что вы на самом деле такой.

– Вы это чувствуете?

– Да, всем сердцем.

– Вот как! Ваше суждение обо мне, Лина, идет от сердца, а должно бы идти от головы.

– И от головы тоже; и тогда я горжусь вами, Роберт. Вы и не представляете себе, что я о вас думаю!

Смуглое лицо Мура покраснело; легкая улыбка скользнула по его сжатым губам, глаза весело заискрились, но он решительно сдвинул брови.

– Не преувеличивайте моих достоинств, Лина. Мужчины в большинстве случаев порядочные негодяи и весьма далеки от вашего представления о них; я не считаю себя ни выше, ни лучше других.

– А иначе я бы вас не уважала, именно ваша скромность и внушает мне уверенность в ваших достоинствах.

– Уж не льстите ли вы мне?

Он порывисто повернулся к ней и стал внимательно вглядываться в ее лицо, словно стремясь прочесть ее мысли.

Она засмеялась и только мягко уронила «нет», как бы не считая необходимым оправдываться.

– Вам все равно, что я об этом думаю?

– Да...

– Вам так ясны ваши намерения?

– Мне кажется, да.

– А каковы же они, Каролина?

– Высказать то, что у меня на душе, и заставить вас лучше думать о самом себе.

– Убедив меня в том, что моя кузина – мой искренний друг?

– Вот именно; я – ваш искренний друг, Роберт.

– А я... впрочем, время и обстоятельства покажут, кем я смогу стать для вас.

– Надеюсь, не врагом, Роберт?

Мур не успел ответить – в эту минуту Сара и ее хозяйка распахнули дверь в кухню, обе в сильном волнении. Пока мистер Мур беседовал с мисс Хелстоун, у них возник спор относительно *safe au lait*⁵¹. Сара утверждала, что в жизни еще не видела такой бурды и что варить кофе в молоке – это расточать понапрасну дары Божьи; что кофе должно прокипеть в

⁵¹ Кофе, сваренный на молоке (фр.).

воде, – так уж ему положено. Мадемуазель же утверждала, что это – *un breuvage royale*⁵² и что Сара по серости своей не способна оценить его.

Мур и Каролина перешли в гостиную; Гортензия еще с минуту задержалась на кухне, дав Каролине возможность повторить свой вопрос: «Надеюсь, не врагом, Роберт?», и Муру серьезно ответить ей тоже вопросом: «Возможно ли это?» Затем он сел за стол, усадив Каролину рядом с собой.

Каролина едва слышала полные негодования речи Гортензии; пространные тирады относительно *conduite ingigne de cette mechante creature*⁵³ почти не достигали ее ушей, сливаясь со звоном посуды. Роберт вначале посмеивался, затем очень мягко и ласково принялся успокаивать сестру, предлагая ей взять в служанки любую девушку из фабричных работниц; правда, они вряд ли ей подойдут, так как большинство из них не имеет никакого понятия о ведении домашнего хозяйства; дерзкая, своевольная Сара, по всей вероятности, не хуже большинства женщин ее сословия.

Мадемуазель с этим согласилась: по ее мнению, *ces paysannes Anglaises etait toutes insupportables*⁵⁴, и она много отдала бы, чтобы иметь в услужении *bonne cuisinifre Anversoise*⁵⁵ в высоком чепце, короткой юбочке и подобающих служанке скромных сабо, – девушку куда более приятную, чем эта наглая кокетка в пышном платье с оборками и даже без чепца на голове! Сара, не разделяя мнения св. Павла, что «женщине непристойно ходить с непокрытой головой», решительно отказывалась прятать под полотняным или муслиновым чепцом свои пышные золотистые волосы и любила укладывать их в высокую прическу, скрепляя сзади изящным гребнем, а по воскресеньям еще и завивала спереди.

– А в самом деле, не выписать ли тебе служанку из Антверпена? – предложил Мур; суровый на людях, он был, в сущности, очень добрым человеком.

– *Merci du cadeau!*⁵⁶ – был ответ. – Антверпенская девушка не выдержит здесь и десяти дней, ее спугнут насмешки фабричных *coquines*⁵⁷. – Затем, смягчившись, она добавила: – Ты очень добр, дорогой брат, прости, что я погорячилась, но уж очень мне тяжело приходится; что ж, видно, так мне суждено; помнится, и незабвенная наша матушка немало с ними мучилась, хотя к ее услугам были лучшие служанки Антверпена. Служанки всегда и везде народ испорченный и грубый.

Мур тоже помнил кое-что о страданиях незабвенной матушки; она была ему хорошей матерью, и он чтил ее память, но не мог забыть и о том, сколько жару задавала она у себя на кухне в Антверпене так же вот, как и преданная ему сестрица здесь, в Англии. Поэтому он промолчал, и разговор оборвался, а как только посуда была убрана, Мур принес Гортензии ноты и гитару, чтобы немного утешить ее, – он знал, что это было лучшим средством ее успокоить, когда она выходила из себя, – заботливо расправил у нее на шее ленту и попросил спеть любимые песни их матери.

Ничто не действует на человека столь благотворно, как участие; раздоры в семье ожесточают, а согласие смягчает. Гортензия, довольная и благодарная брату, выглядела в ту минуту даже изящной и почти красивой: кислое выражение лица исчезло, его сменила *sourire plein de bonte*⁵⁸. Она с большим чувством спела несколько песен. Они напомнили ей о матери, к которой она питала искреннюю привязанность, напомнили о днях ее юности. Она заметила, что Каролина слушает ее с простодушным удовольствием, и еще больше повеселела. А восклица-

⁵² Королевский напиток (фр.).

⁵³ Гнусного поведения этой злой девчонки (фр.).

⁵⁴ Все английские крестьянки невыносимы (фр.).

⁵⁵ Хорошую кухарку из Антверпена (фр.).

⁵⁶ Спасибо за подарок! (фр.)

⁵⁷ Негодяек (фр.).

⁵⁸ Улыбка, полная доброты (фр.).

ние: «Если бы я могла петь и играть, как Гортензия!», вырвавшееся у Каролины, окончательно довершило метаморфозу и сделало мадемуазель Мур очаровательной до конца вечера.

Правда, Каролине пришлось выслушать небольшое поучение о том, что только хотеть недостаточно, что необходимо добиваться желаемого. Было сказано, что, подобно тому как Рим был построен не в один день, так же и музыкальное образование мадемуазель Мур было приобретено не за одну неделю и не только благодаря желанию, – для этого потребовалось немало усилий; она всегда славилась усердием, прилежанием, и учителя отмечали в ней редчайшее и приятнейшее сочетание таланта и трудолюбия. Мадемуазель всегда становилась словоохотливой, как только речь заходила о ее достоинствах.

Наконец, исполнившись блаженного самодовольства, умиротворенная Гортензия взялась за вязание. Вечером, при спущенных шторах, озаренная ярко пылавшим камином и мягким светом лампы, маленькая гостиная выглядела веселой и уютной. Это, видимо, чувствовали все трое, и все они казались счастливыми.

– Чем же нам теперь заняться, Каролина? – спросил Мур, снова садясь возле своей кухни.

– Чем же нам заняться, Роберт? – шутливо повторила она. – Решайте сами.

– Не сыграть ли в шахматы?

– Нет.

– В триктрак или в шашки?

– Нет, нет, оба мы не любим таких игр, когда приходится молчать.

– Пожалуй, вы правы; так посплетничаем?

– О ком? Мы никем не интересуемся настолько, чтобы разбирать его по косточкам.

– Что верно, то верно. Может быть, это звучит нелюбезно, но, должен признаться, меня никто не интересует.

– И меня тоже. Но вот что странно: хотя нам не нужен сейчас третий, то есть, я хочу сказать, четвертый, – она поспешно бросила смущенный взгляд на Гортензию, – как все счастливые люди, мы эгоистичны, и нам нет дела до остального мира, все же нам приятно было бы кинуть взгляд в прошлое, вызвать к жизни тех, кто проспал не один век в могилах, – хотя и от их могил, наверное, давно уже не осталось и следа, – услышать их голос, узнать их мысли, их чувства.

– Кого же мы выберем в собеседники? И на каком языке будет он говорить? На французском?

– Нет, ваши французские предки не умеют говорить таким возвышенным, торжественным и в то же время волнующим сердце языком, как ваши английские праотцы. На сегодняшний вечер вы станете чистокровным англичанином. Вы будете читать английскую книгу.

– Старинную книгу?

– Да, старинную книгу, любимую вами, а я выберу в ней то, что созвучно вашей натуре. Книга эта разбудит вашу душу и наполнит ее музыкой, подобно искусной руке, коснется струн вашего сердца, и струны эти зазвучат; ваше сердце, Роберт, – это лира, но жребий ваш не исторгает из него сладостных звуков, подобно менестрелю; оно часто молчит; пусть же великий Вильям коснется его, и струны зазвучат прекрасными английскими мелодиями.

– Вы хотите, чтобы я читал Шекспира?

– Вы должны приобщиться к его мыслям и услышать его голос своим сердцем; вы должны принять в свою душу частицу его души.

– Словом, это чтение должно сделать меня чище и возвышеннее? Должно повлиять на меня так, как влияют проповеди?

– Оно должно взволновать вас, вызвать в вас новые чувства; вы должны увидеть себя во всей полноте: не только свои хорошие, но и дурные, темные стороны...

– Dieu! Que dit-elle!⁵⁹ – воскликнула Гортензия. Она считала петли, не прислушиваясь к разговору, но эти два слова неожиданно резанули ей слух.

– Оставь ее, сестра, пусть говорит свободно все, что ей хочется, – она любит пожурить твоего брата, но меня это очень забавляет, так что не мешай ей.

Каролина тем временем взобралась на стул, порылась в книжном шкафу и, найдя нужную книгу, снова подошла к Роберту.

– Вот вам Шекспир, – сказала она, – и вот «Кориолан». Читайте, и пусть чувства, которые он пробудит в вас, откроют вам, как велики вы и как ничтожны.

– А вы садитесь рядом со мной и поправляйте меня, если я буду неправильно произносить слова.

– Я буду вашей учительницей, а вы моим учеником?

– Ainsi, soit-il!⁶⁰

– А Шекспир – предмет, который нам предстоит изучить?

– По-видимому, так.

– И вы откажетесь от своего французского скептицизма и насмешливости? И не будете думать, что ничем не восхищаться – признак высокой мудрости?

– Ну, не знаю...

– Если я это замечу, я отниму у вас Шекспира и, оскорбленная в своих лучших чувствах, надену шляпу и тут же отправлюсь домой.

– Садитесь, я начинаю.

– Подожди минутку, брат, – вмешалась Гортензия. – Когда глава семьи читает, дамам следует заниматься рукоделием. Каролина, дитя мое, бери свое вышивание; ты успеешь вышить за вечер две-три веточки.

Лицо Каролины вытянулось.

– Я плохо вижу при свете лампы, глаза у меня устали, да я и не способна делать два дела сразу. Если я вышиваю, я не слышу чтения; если слушаю внимательно, я не могу вышивать.

– Fi, donc! Quel enfantillage!⁶¹ – начала было Гортензия, но тут Мур, по своему обыкновению, мягко вступился за Каролину:

– Позволь ей сегодня не заниматься рукоделием; мне хочется, чтобы она как можно внимательнее следила за моим произношением, а для этого ей придется смотреть в книгу.

Мур положил книгу между собой и Каролиной, облокотился на спинку ее стула и начал читать.

Первая же сцена «Кориолана» захватила его, и, читая, он все больше воодушевлялся. Высокомерную речь Кая Марция перед голодающими горожанами он продекламировал с большим подъемом. Хоть он и не высказал своего мнения, но видно было, что непомерная гордость римского патриция находит отклик в его душе. Каролина подняла на него глаза с улыбкой.

– Вот сразу и нашли темную сторону, – сказала она. – Вам по душе гордец, который не сочувствует своим голодающим согражданам и оскорбляет их. Читайте дальше.

Мур продолжал читать. Военные эпизоды не взволновали его; он заметил, что все это было слишком давно и к тому же проникнуто духом варварства; однако поединок между Марцием и Туллом Авфидием доставил ему наслаждение. Постепенно чтение совершенно захватило его; сцены трагедии, исполненные силы и правды, находили отклик в его душе. Он забыл о собственных горестях и обидах и любовался картиной человеческих страстей, видел, как живых, людей, говоривших с ним со страниц книги.

⁵⁹ Что такое она говорит! (фр.)

⁶⁰ Пусть будет так! (фр.)

⁶¹ Фу! Говоришь, как маленькая! (фр.)

Комические сцены он читал плохо, и Каролина, взяв у него книгу, сама прочла их. Теперь они, видимо, ему понравились, да она и в самом деле читала с тонким пониманием, вдохновенно и выразительно, словно природа внезапно наделила ее этим даром. Да и вообще, о чем бы она ни говорила в этот вечер: о вещах незначительных или серьезных, веселых или грустных, – в ней светилось что-то своеобразное, непосредственное, самобытное, порывистое, что-то неуловимое и неповторимое, как неповторимы огнистая черта падающей звезды, переливчатый блеск росинки, очертание и окраска облачка в лучах закатного солнца или струящаяся серебристая рябь ручейка.

Кориолан в блеске славы, Кориолан в несчастье, Кориолан в изгнании – образы сменяли друг друга подобно исполинским теням; образ изгнанника, казалось, потряс воображение Мура. Он мысленно перенесся к очагу в доме Авфидия и видел униженного полководца – еще более великого в своем унижении, чем прежде в своем величии; видел «грозный облик», угрюмое лицо, на котором «читается привычка к власти», «могучий корабль с изодранными снастями». Месть Кая Марция вызвала у Мура сочувствие, а не возмущение, и Каролина, заметив это, снова прошептала: «Опять сочувствие родственной души».

Поход на Рим, мольбы матери, длительное сопротивление, наконец, торжество добрых чувств над злыми, – они всегда берут верх в душе человека, достойного называться благородным, – гнев Авфидия на Кориолана за его, как он считал, слабость, смерть Кориолана и печаль его великого противника – сцены, исполненные правды и силы, увлекали в своем стремительном, могучем движении сердце и помыслы чтеца и слушательницы.

Когда Мур закрыл книгу, наступило долгое молчание.

– Теперь вы почувствовали Шекспира? – спросила наконец Каролина.

– Мне кажется, да.

– И почувствовали в Кориолане что-то близкое себе?

– Пожалуй.

– Вы не находите, что наряду с величием в нем были и недостатки?

Мур утвердительно кивнул головой.

– А в чем его ошибка? Что возбудило к нему ненависть горожан? Почему его изгнали из родного города?

– А как вы сами думаете?

– Я вновь спрошу:

То гордость ли была, что при удачах
Бессменных развращает человека;
Иль пылкость, неспособная вести
Весь ряд удач к одной разумной цели;
Иль, может быть, сама его природа
Упорная, не склонная к уступкам,
Из-за которой на скамьях совета
Он шлема не снимал и в мирном деле
Был грозен, словно муж на поле брани?⁶²

– Может быть, вы сами ответите, Сфинкс?

– Все вместе взятое; вот и вам не следует высокомерно обращаться с рабочими; старайтесь пользоваться любым случаем, чтобы их успокоить, не будьте для них только неумолимым хозяином, даже просьба которого звучит как приказание.

– Так вот как вы понимаете эту пьесу! Откуда у вас такие мысли?

⁶² Перевод под редакцией А. А. Смирнова. Остальные стихи даны в переводе Ф. Л. Мендельсона.

– Я желаю вам добра, тревожусь за вас, дорогой Роберт, а многое, что мне рассказывают в последнее время, заставляет меня опасаться, как бы с вами не случилось беды.

– Кто же вам обо мне рассказывает?

– Дядя; он хвалит вашу твердость и решительность, ваше презрение к подлым врагам, ваше нежелание «подчиниться черни», как он говорит.

– А вы считаете, что я должен был бы подчиниться?

– Вовсе нет! Я не хочу, чтобы вы унижались; но мне кажется несправедливым объединять всех бедных тружеников под общим и оскорбительным названием «черни» и смотреть на них свысока.

– Да вы демократка, Лина; если бы вас услышал дядюшка, что бы он сказал?

– Вы же знаете, я редко разговариваю с дядей, тем более о таких вещах; по его мнению, для женщины существуют только стряпня и шитье, а все остальное выше ее понимания, и незачем ей вмешиваться не в свое дело.

– А вы думаете, что разбираетесь в этих сложных вопросах достаточно хорошо, чтобы давать мне советы?

– В том, что касается вас, я разбираюсь; я знаю, для вас лучше, если рабочие будут любить вас, а не возненавидят; уверена и в том, что добротой вы скорее завоюете их уважение, чем гордостью. Будь вы холодны или надменны со мной или с Гортензией, разве мы любили бы вас? Когда вы бываете холодны со мной, как это подчас случается, я и сама не отваживаюсь быть приветливой с вами.

– Что ж, Лина, вы уже преподали мне урок языка и морали, слегка коснувшись и политики. Теперь моя очередь: Гортензия говорила мне, что вам пришлось по вкусу одно стихотворение несчастного Андре Шенье, «La Jeune Captive», и вы его выучили наизусть; вы все еще его помните?

– Мне кажется, да.

– Ну так прочитайте, не торопясь, тщательно следя за произношением.

Каролина начала декламировать пленительные стихи Шенье, и ее дрожащий голос постепенно становился все более уверенным; особенно выразительно прочитала она последние строфы:

Я только вышла в путь, – он весь передо мной,
Зовет и манит вдаль тенистых вязов строй,
Я первые лишь миновала.
Пир жизни закипел, роскошен и широк,
Но я пока смогла всего один глоток
Отпить из полного бокала.
Покамест для меня еще цветет весна,
А мне хотелось бы все года времена
Познать и увидеть воочью;
Цветок, сверкающий росой в родном саду,
Я утро встретила, теперь полудня жду,
Чтоб опочить лишь с солнцем, ночью.

Мур слушал, опустив глаза, затем украдкой поднял их на девушку; откинувшись в кресле, он незаметно для нее принялся ее разглядывать. Разрумянившаяся, с сияющими глазами, она была полна того оживления, которое скрасило бы и невзрачную внешность; но здесь такое слово неуместно. Солнце проливало свой свет не на бесплодную сухую почву, а на нежное цветение юности. Все черты ее лица были изящны, весь ее облик дышал очарованием. В эту минуту – взволнованная, увлеченная, полная воодушевления – она казалась красавицей. Такое

лицо способно было пробудить не только спокойные чувства, уважение или почтительное восхищение, но и более нежные, теплые, глубокие – симпатию, увлечение, быть может, любовь.

Окончив читать, она повернулась к Муру, и глаза их встретились.

– Ну, как я читала – хорошо? – спросила она, и на губах ее заиграла беззаботная улыбка счастливого ребенка.

– Право, не знаю...

– Как не знаете? Вы не слушали?

– Слушал и смотрел. Вы очень любите стихи, Лина?

– Прекрасные стихи не дают мне покоя, пока я не выучу их наизусть и не сроднюсь с ними навсегда.

Мур ничего не ответил, и несколько минут прошло в молчании. Пробило девять часов; вошла Сара и сказала, что за мисс Каролиной пришли.

– Вот и окончен наш вечер, – заметила Каролина. – Не скоро еще удастся мне провести здесь другой такой же.

Гортензия давно уже клевала носом над вязаньем; в полудремоте она, очевидно, не слышала слов Каролины.

– А почему бы вам не оставаться у нас почаще? – заметил Роберт. Взяв со столика ее зимнюю накидку, он заботливо укутал кузину.

– Я люблю приходить сюда, но навязывать свое общество, добиваться приглашений мне не хочется, – вы и сами это понимаете.

– О, я все понимаю, девочка. Подчас, Лина, вы журите меня за желание разбогатеть; но ведь если бы я стал богатым, вы всегда жили бы здесь, вернее, вы были бы со мной, где бы я ни жил.

– Это было бы хорошо, но, даже если бы вы остались бедным, очень бедным, мне было бы хорошо с вами! Спокойной ночи, Роберт!

– Я обещал проводить вас.

– Да, но мне показалось, что вы об этом забыли, и я не решалась напомнить вам, хоть мне и очень хотелось. Стоит ли вам идти? На дворе холодно, и, раз за мной пришла Фанни, право, нет никакой необходимости...

– Вот ваша муфта. Не станем будить Гортензию, идемте.

Быстрым шагом прошли они короткий путь и расстались в саду, даже не поцеловав друг друга, а только обменявшись коротким рукопожатием. И все же, когда Роберт ушел, Каролина продолжала ощущать радостное возбуждение. Он был необычно внимателен к ней весь этот день, но проявилось это не в громких словах, комплиментах или признаниях, а в ласковом обращении, взгляде и теплых нотках голоса.

Сам же Роберт вернулся домой сумрачный, даже угрюмый; прислонясь к калитке, он постоял некоторое время в саду, погруженный в глубокую задумчивость, глядя на залитую бледным лунным светом лощину, на обступившие ее холмы, на безмолвную темную фабрику, и вдруг громко воскликнул: «Нет, с этим надо покончить! Все это может оказаться губительным. – Затем добавил уже спокойнее: – Ничего, это мимолетное наваждение, оно пройдет, как проходило и раньше, я знаю, завтра от него не останется и следа».

Глава VII. Священники в гостях

Каролине Хелстоун только что исполнилось восемнадцать лет; в таком возрасте настоящая повесть жизни едва начинается. До этой поры мы только внимаем сказке, чудесному вымыслу, иногда веселому, иногда печальному, но почти всегда фантастическому. До этой поры мы живем в мире возвышенном; его населяют полубоги или полудемоны; его пейзажи – как бы видения сна; просторы этой зачарованной страны украшают более темные леса и причудливые холмы, более лучезарное небо и опасные воды, более нежные цветы и соблазнительные плоды, более обширные равнины, более унылые пустыни, более веселые поля, чем те, какие мы видим в действительности. Какой дивной луной мы любуемся в ранней юности! Сердце наше замирает при виде ее несказанной красоты, а наше солнце – это пылающее небо, обиталище богов.

Но когда нам минет восемнадцать лет, мы приближаемся к пределу этого призрачного, обманчивого мира, – страна Мечты, край эльфов остается позади, а впереди уже виднеются берега Действительности. Берега эти, еще далекие от нас, окутаны голубой дымкой, сквозь которую проступают пленительные очертания, – и мы жаждем поскорее подойти к ним. Под ясным лазурным небом нам мерещится свежая зелень – зелень вешних лугов; наши глаза ловят серебристый, переливный блеск, и нам кажется, что это струятся живые воды. Только бы добраться до этой страны – там мы будем избавлены от голода и жажды! Но ведь нам предстоит еще пересечь дикие пустыни, быть может, и поток смерти или пучину горестей, часто такую же холодную и мрачную, как сама смерть, прежде чем дано будет вкушать истинное блаженство. Малейшую радость жизни приходится завоевывать. И завоевывать, не щадя сил; это хорошо знает тот, кто бился за высокие награды. Чело воина всегда покрывается алыми рубинами крови, прежде чем над ним зашелестит победный венец.

Но в восемнадцать лет эти истины нам еще неведомы. Мы слепо верим надежде, когда она улыбается нам и обещает счастье назавтра; когда любовь постучится в наши двери, словно заблудившийся ангел, мы тотчас впускаем ее, приветствуем и лелеем, не замечая ее колчана; пронзенные ее стрелой, мы ощущаем живительный трепет. Мы не страшимся яда этих зазубренных стрел, извлечь которые бессильна рука врача; эта пагубная страсть, всегда в чем-то мучительная, а для многих мучительная от начала до конца, считается, однако, неслыханным благом. Короче говоря, в восемнадцать лет мы еще не вступили в школу Опыта, где наш дух будет усмирен и переплавлен, но также закален и очищен.

Увы, Опыт! Ты – наставник с самым суровым и бесстрастным лицом, облаченный в самое мрачное одеяние, с грозной лозой в руках. Непреклонный, ты неумолимо заставляешь новичка творить твою волю, ты властно приказываешь ему не отступать ни перед чем. Только благодаря твоим наставлениям люди способны находить безопасный путь в дебрях жизни; без твоих уроков они сбиваются с пути, спотыкаются и падают, вторгаются в запретные чащи, срываются в ужасные пропасти!

У Каролины по возвращении домой не было ни малейшей охоты провести конец вечера в обществе дяди; его комната была для нее заповедным местом, и она редко туда заходила. Вот и сегодня она просидела у себя наверху до тех пор, пока колокол не возвестил час молитвы; вечернее богослужение благочестиво соблюдалось в доме мистера Хелстоуна. Он монотонно читал молитвы гнусавым, но внятным и громким голосом. Когда он закончил, племянница, как всегда, подошла к нему проститься:

- Спокойной ночи, дядя.
- Хм! Ты где-то пропадала весь день! У кого-то была в гостях, даже обедала?
- Только у Муров.
- Занималась?

– Да.

– И сшила рубашку?

– Не до конца.

– Ну что ж, довольно и этого; тебе нужно думать только об одном – учись обращаться с иглой, шить рубашки и платья, печь пироги, и со временем выйдет из тебя толковая хозяйка. Ну, ложись спать; я занят тут одной брошюрой.

И вот Каролина одна в своей маленькой спальне; дверь заперта, надет белый капотик, волосы распущены и длинными пышными волнами падают до талии; устав расчесывать их, она оперлась на локоть, устремила глаза вниз, и перед ней возникли, замелькали те видения, какие являются нам в восемнадцать лет.

Каролина мысленно беседует сама с собой, и, по-видимому, беседа эта приятна – она улыбается. Она очень мила сейчас, погруженная в раздумье; но в этой комнате незримо присутствует еще более прекрасное создание – Юная Надежда. Эта добрая предсказательница шепчет Каролине, что ей нечего больше опасаться огорчений или разочарований: для нее уже наступил рассвет лучезарного дня, ей светит не обманчивое сияние, но лучи весеннего утра, и солнце ее восходит. Мысль о том, что она жертва самообольщения, не приходила ей в голову; казалось, мечты ее – не пустые грезы, она вправе надеяться, что они сбудутся.

«Полюбив друг друга, люди женятся, – рассуждала она сама с собой. – Я люблю Роберта, и он любит меня, я в этом теперь уверена. Мне и прежде так казалось, но сегодня я это почувствовала. Когда я прочитала стихи Шенье и взглянула на него, глаза его (как они красивы!) открыли мне правду. Иногда я боюсь говорить с ним, боюсь быть слишком откровенной, слишком нескромной, ибо я уже не раз горько упрекала себя за несдержанность, и мне казалось, что он порицает меня за слова, которые, быть может, мне не следовало ему говорить. Но сегодня вечером я могла бы смело говорить о чем угодно, он был таким снисходительным. Как ласков был он со мной, пока мы шли по тропинке! Правда, он не льстил мне, не говорил глупостей; он ухаживает за мной (вернее, дружески относится, я еще не считаю его своим возлюбленным, но надеюсь, со временем он меня полюбит) не так, как описывают в книгах, а гораздо лучше, как-то по-своему, более мужественно, более искренне. Мне он очень нравится, и я буду ему преданной женой, если только он на мне женится; конечно, я укажу ему на его недостатки (кое-какие недостатки у него есть), но стану печься о нем и лелеять его – словом, сделаю все, чтобы он был счастлив. Надеюсь, он не будет холоден со мной завтра; я уверена, что завтра вечером он либо придет сюда, либо пригласит меня к ним».

Каролина снова принялась расчесывать свои длинные, как у русалки, волосы и, повернув голову, чтобы заплести их на ночь, увидела свое отражение в зеркале. Некрасивые не любят смотреться в зеркало – они понимают, что глаза других не видят в них прелести; зато красивые думают совсем другое: лицо в зеркале очаровательно и должно очаровывать. Каролина увидела в зеркале отражение прелестной головки и фигуры, которое словно просилось на портрет, и это вселило в нее еще больше веры в свое счастье; в безмятежно-радостном настроении она легла спать.

И в таком же безмятежно-радостном настроении встала Каролина на следующее утро; когда же, войдя в столовую к завтраку, она ласково и приветливо поздоровалась с дядей, то даже этот маленький бесстрастный человек не мог не заметить, что племянница его становится «премилой девушкой».

Обычно она была тиха и робка, послушна, отнюдь не словоохотлива, но сегодня она разговаривалась. Их беседы ограничивались повседневными мелочами: с женщиной, тем более с девушкой, мистер Хелстоун не считал нужным говорить на более серьезные темы. Каролина уже побывала в саду и теперь сообщила ему, какие цветы начинают показываться на клумбах, спросила, когда садовник придет привести в порядок лужайки, и заметила, что скворцы уже

поселились на колокольне (церковь Брайерфилда была расположена рядом с домом священника), – удивительно, однако, что их не отпугивает звон колоколов!

Мистер Хелстоун на это ответил, что «птицы, как и все другие глупцы, которые только что соединились, заняты друг другом и бесчувственны ко всяким неудобствам». Но Каролина, счастливая и потому осмелевшая, отважилась на этот раз возразить дядюшке:

– Дядя, вы всегда говорите о супружеской жизни с оттенком презрения. Вы считаете, что люди не должны вступать в брак?

– Разумеется! Самое умное – жить в одиночестве, в особенности женщинам.

– Разве все браки неудачны?

– Почти все, а если бы люди не скрывали правды, то выяснилось бы, что счастливых браков вообще не бывает.

– Вы всегда недовольны, когда вам приходится венчать, – почему?

– Не особенно приятно быть посредником в явных глупостях.

Мистер Хелстоун разговаривал очень охотно, казалось, он был рад поучить племянницу уму-разуму. Она же, видя, что ее дерзость сходит ей с рук, отважилась спросить:

– Но почему брак – это глупость? Если двое любят друг друга, почему им не соединить свои жизни?

– Они наскучат друг другу, наскучат не позже чем через месяц, – двое в одном хомуте не могут быть друзьями: они товарищи по несчастью.

– Можно подумать, дядя, что вы сами никогда не были женаты и прожили всю свою жизнь холостяком!

Замечание Каролины было продиктовано отнюдь не простодушной наивностью, но чувством протеста, досадой на дядю за его нелепые взгляды.

– Да так оно и есть.

– Но ведь вы были женаты! Почему же вы изменили своим взглядам?

– Нет человека, который бы хоть раз в жизни не наглупил!

– И что же, вы с тетей наскучили друг другу и страдали, живя вместе?

Мистер Хелстоун только презрительно выпятил нижнюю губу, наморщил свой смуглый лоб и буркнул что-то невразумительное.

– Разве она не была для вас подходящей женой? Доброй и послушной? Разве вы не были к ней привязаны? Не горевали, когда она скончалась?

– Каролина, пойми раз и навсегда, – проговорил мистер Хелстоун, ударив рукой по столу, – смешивать общее с частным – смешно и глупо: для всего в жизни есть правила и есть исключения; ты задаешь ребяческие вопросы; позвони, если ты уже позавтракала.

Посуда была убрана со стола; обычно после завтрака дядя с племянницей расставались до обеда. Но сегодня Каролина, вместо того чтобы покинуть комнату, направилась к окну и уселась в его широкой нише. Хелстоун раза два недовольно оглянулся на нее, как бы намекая, что предпочитает остаться в одиночестве, но она смотрела в окно, забыв о его присутствии, и он продолжал читать утреннюю газету, на сей раз особенно интересную, ибо на Пиренейском полуострове разыгрались важные события и целые столбцы были посвящены официальным сообщениям генерала Веллингтона. Занятый чтением, он и не подозревал, какие мысли роятся в голове его племянницы, – мысли, которые их беседа оживила, но отнюдь не породила; сейчас эти мысли метались, как потревоженные в улье пчелы, но уже давно таились они в ее головке.

Каролина пыталась разобраться в характере и взглядах дяди, понять его странное отношение к браку. Не впервые раздумывала она об этом, пытаясь разгадать, почему они с дядей так далеки друг от друга, и всегда по ту сторону разделявшей их пропасти возникала, как возникла и сейчас, еще одна фигура, призрачная, туманная, зловещая, – полузабытый образ ее родного отца, Джеймса Хелстоуна, брата Мэттьюсона Хелстоуна.

Кое-что ей было известно о нем из разговоров: старым служанкам случалось обронить намек; она знала, что он не был хорошим человеком и неласково обращался с ней. У нее сохранились воспоминания, хотя и очень смутные, о каком-то времени, проведенном с отцом в большом незнакомом городе, где у нее не было даже няни, которая бы заботилась о ней; ее держали взаперти в высокой мансарде, почти без мебели, без ковра на полу, без полога над кроватью. Отец уходил из дому с раннего утра, нередко пропадал по целым дням, оставляя девочку без всякой еды, а когда возвращался поздно вечером, казался свирепым, страшным или, что еще хуже, полубезумным. Наконец она тяжело заболела, и однажды ночью, когда ей было очень плохо, отец ворвался в комнату, крича, что она для него обуза и что он убьет ее. К счастью, к девочке поспешили на помощь и отняли ее у отца. Впоследствии ей довелось увидеть его еще только один раз – в гробу.

Таков был ее отец. Была у нее также и мать, и, хотя мистер Хелстоун никогда не упоминал ее имени, хотя у самой Каролины не сохранилось о ней никаких воспоминаний, ей все же было известно, что мать ее жива. Итак, она была женой пьяницы. Какова же была их совместная жизнь? Каролина отвела глаза от скворцов, на которых она глядела невидящим взглядом, и повернулась спиной к частому переплету окна. Ее зазвеневший печалью голос нарушил молчание.

– Мне кажется, пример моих родителей заставляет вас считать все браки несчастливymi. Да, если моя мать выстрадала все, что мне пришлось выстрадать, пока я жила с отцом, то у нее действительно была ужасная жизнь...

Мистер Хелстоун круто повернулся в кресле и бросил поверх очков быстрый взгляд на племянницу: слова Каролины ошеломили его.

Ее родители! Что заставило ее вспомнить о родителях, о которых он никогда за все двенадцать лет, прожитые под одним кровом, не сказал ей ни слова? Ему и в голову не приходило, что мысли эти созрели сами по себе, что Каролина вспоминала и раздумывала о своих родителях.

– Твои родители? Кто говорил с тобой о них?

– Никто. Но я помню, каким был отец, и мне жаль маму. Где она?

Этот вопрос не раз уже готов был сорваться с губ Каролины, но она не решалась задать его.

– Право, не знаю, – ответил мистер Хелстоун, – я почти не был знаком с ней, и вот уже много лет ничего о ней не слышал; впрочем, где бы она ни была, она, видно, совсем о тебе забыла и не интересуется тобой. У меня есть основания полагать, что она не хочет тебя видеть. Однако тебе пора собираться на урок к твоей кухне – уже пробило десять.

Каролина хотела еще о чем-то спросить, но тут вошла Фанни и сказала хозяину, что к нему пришли церковные старосты. Он поспешил к ним, а племянница его вскоре отправилась на занятия.

Путь от церковного дома до фабрики в долине лежал под гору, и Каролина всю дорогу чуть ли не бежала. Прогулка на свежем воздухе и мысль о том, что сейчас она увидит Роберта или хотя бы побудет в его доме, поблизости от него, вскоре рассеяла ее грусть. Вот уже показался белый домик, до ее слуха донесся фабричный грохот и шум бегущего ручья, и она сразу же увидела Мура у садовой калитки; на нем была полотняная блуза, перетянутая поясом, и легкая фуражка – простой домашний костюм, который очень ему шел; он стоял, глядя на дорогу, но не в ту сторону, откуда появилась его кухня. Каролина остановилась и принялась внимательно разглядывать его, притаившись за стволом ивы.

«Нет никого, равного ему, – думала она, – он и красив и умен! Какие у него пронизательные глаза! И какое прекрасное, одухотворенное лицо – вдумчивое, выразительное, с правильными тонкими чертами! Мне нравится его лицо, мне нравится он весь – я люблю его! Никто не

может сравниться с ним! Насколько он лучше этих лукавых священников, да и вообще лучше всех! Милый мой Роберт!»

Она бросилась к «милому Роберту». Но тот, увидев представшую перед ним девушку, казалось, рад был бы раствориться в воздухе, подобно видению; однако, будучи не видением, а человеком из плоти и крови, он вынужден был поздороваться, но держался очень сухо: так мог бы держаться кузен, брат или родственник, но не влюбленный. Того обаятельного Роберта, которого Каролина видела вчера, словно подменили; перед ней стоял совсем другой человек; во всяком случае, сердце у этого человека было другое. Острая боль разочарования пронзила ее. В первую минуту девушка не могла поверить своим глазам – так разительна была перемена. Как трудно было опустить руку, не дождавшись хотя бы легкого пожатия, трудно было отвести взгляд от его глаз, не увидев в них чувства более теплого, чем спокойная приветливость!

Влюбленный мужчина, обманутый в своих надеждах, вправе расспрашивать, требовать объяснений – влюбленная женщина должна молчать, не то она будет наказана стыдом, страданием, укорами совести за измену своей скромности. Несдержанность в женщине противна самой природе, и природа заставит провинившуюся расплачиваться острым презрением к самой себе, презрением, которое втайне ее истерзает. Женщины, принимайте случившееся как должное: не задавайте вопросов, не выказывайте неудовольствия, – в этом ваша мудрость. Вы просили хлеба, а вам дали камень; ломайте о него зубы, но, даже если сердце разрывается, сдерживайте стон боли. Не бойтесь, у вас хватит сил перенести это испытание. Вы протянули руку за яблоком, а судьба вложила в нее скорпиона: не показывайте своего ужаса, крепко сожмите в руке этот дар; жало вонзится вам в ладонь – и пусть: ладонь и рука распухнут и будут долго еще дрожать от боли, но со временем скорпион погибнет, а вы научитесь страдать молча, без слез. Зато потом, если вы переживете это испытание, – говорят, некоторые его не выдерживают, – вы закалитесь на всю жизнь, станете умнее и менее чувствительными к боли. Но вам этого знать еще не дано, и в этой мысли вы не можете почерпнуть мужество; и только сама природа – ваш лучший друг – подсказывает, как вести себя: она налагает на ваши уста печать молчания и приказывает вам скрывать свои чувства под притворным спокойствием, вначале даже окрашенным налетом беззаботности и веселости, сквозь которые постепенно проступают уныние и печаль; со временем они переходят в стоицизм, укрепляющий дух, – в стоицизм с примесью горечи.

С примесью горечи? Но разве это плохо? Нет, пусть будет горечь: эта горечь закаляет нас, в ней мы черпаем силу. После острого страдания никто не может оставаться мягким, нежным; говорить об этом – значит сознательно обманывать себя. Пережив эту пытку, человек становится обессиленным, вялым; если же он сохранит свою энергию, то это уже опасная сила, которая становится даже грозной при столкновении с новой несправедливостью.

Кто из вас, читатели, знаком со старинной шотландской балладой «Бедняжка Мэри Ли», сложенной в давние времена неизвестным певцом? Мэри обманул ее возлюбленный, а она принимала ложь за правду. Она не жалуется, но сидит одна-одинешенька – а кругом бушует вьюга – и высказывает свои чувства; это не чувства идеальной героини, это чувства крестьянской девушки с любящим сердцем, глубоко переживающей обиду. Страдание прогнало ее от теплого камелька на покрытые снежным саваном льдистые кручи; она сидит, скорчившись у сугроба, и перед ней встают кошмарные видения: «желтобрюхий ящер», «волосатый змей», «старый пес, воющий на луну», «пучеглазое привидение», «разъяренный бык», «молоко жабы» и воспоминания о Робине Ри, которые для нее ужаснее всех кошмаров.

Беспечно я пела, встречая весну,
Гори, огонек мой, гори!
А ныне под стоны метели клян
Жестокого Робина Ри!

Пуškai же деревья скрипят на ветру,
Шумят над моей головой, —
Покойно мне будет, когда я умру,
В могиле моей снеговой.

Укрой меня снегом, метель, поскорей
От света постылой зари,
От злобы и смеха коварных людей,
Похожих на Робина Ри!

Впрочем, все это не имеет отношения ни к Каролине, ни к чувствам, связывающим ее с Робертом Муром; Роберт не причинил ей ни малейшего зла: он ее не обманывал, и ей приходится пенять только на себя; она сама виновница своего горя, непрошено полюбив, что иногда случается не по нашей воле, но всегда чреватое страданием.

Правда, иногда казалось, будто Роберт питает к Каролине не только братские чувства, но не сама ли она своим вниманием к нему пробуждала эти чувства, против которых восставали его разум и воля? Теперь же он решил пресечь возникавшую между ними близость, потому что не хочет, чтобы его привязанность крепла и пускала глубокие корни, не хочет вступать в брак, который считает безрассудным. Как же следует вести себя Каролине? Дать волю своей любви или затаить ее? Добиваться расположения Роберта или постараться вырвать его из сердца? Если она слаба духом, то изберет первое, уронит себя в глазах Мура и вызовет к себе презрение; если же она умна, то возьмет себя в руки, успокоит свои смятенные чувства, постарается взглянуть на жизнь трезво, постичь ее суровую правду и понять всю ее сложность.

По-видимому, Каролина обладала здравым смыслом, ибо спокойно, без жалоб и расспросов рассталась с Робертом; девушка не изменилась в лице, глаза ее остались сухими, и она заставила себя заниматься с Гортензией как обычно, а к обеду, не задерживаясь, поспешила домой.

После обеда, оставив дядю в столовой за стаканом портвейна, она перешла в гостиную и задумалась – как ей пережить этот мучительный день.

Накануне она верила, что он пройдет так же, как и вчерашний, а вечером она встретится с Робертом, со своим счастьем. Теперь она знала, что на это надеяться нельзя, и все же ничем не могла заняться, не могла примириться с мыслью, что ее не позовут в белый домик и что никакая случайность не приведет к ней Мура.

Он иногда приходил провести часок-другой с ее дядей, после чая, в сумерки, когда она уже не надеялась на такое счастье; колокольчик у двери звонил, и в передней раздавался знакомый голос. Случалось ему приходиться и после того, как он выказывал ей некоторую холодность; он редко заговаривал с ней в присутствии дядюшки, но во время своих визитов, сидя неподалеку от ее рабочего столика, поглядывал на нее как бы с раскаянием: те немногие слова, с которыми он обращался к ней, успокаивали ее, а уходя, он особенно тепло с ней прощался. Вот и сегодня вечером он еще может прийти, внушала ей Ложная Надежда; она и сама понимала, что Надежда эта ложная, но позволяла ей нашептывать слова утешения.

Она пыталась читать, но мысли ее разбегались; пыталась вышивать, но дело двигалось плохо, каждый стежок требовал усилий; тогда, вынув из письменного стола тетрадь, она попыталась написать французское сочинение, но и тут поминутно ошибалась.

Вдруг раздался резкий звонок. Каролина затрепетала от радости; она побежала к двери гостиной и, приотворив ее, осторожно заглянула в щелку: Фанни впустила гостя, высокого, ростом с Мура; на мгновение Каролина подумала, что это он, и была счастлива, но голос, спросивший, дома ли мистер Хелстоун, вывел ее из заблуждения: гость говорил с ирландским

акцентом, следовательно, то был не Мур, а Мелоун. Его провели в столовую, где он, вне всякого сомнения, охотно помог хозяину дома осушить графин.

Следует отметить, что стоило одному из трех священников зайти в какой-либо дом в Брайерфилде, Уинбери или Наннли и остаться там на обед или чай, в зависимости от часа, как следом за ним появлялся второй, а часто еще и третий. Это происходило не потому, что они условливались о встрече, – нет, просто все они ходили в гости в одно и то же время. Если Донн, зайдя к Мелоуну, не заставал его дома, он спрашивал у квартирной хозяйки, куда тот направил стопы свои, и спешил по указанному адресу. Точно так же поступал и Суитинг. И таким образом, сегодня после обеда Каролину три раза тревожил звон колокольчика и появление нежеланных гостей; вслед за Мелоуном пожаловал Донн, а вслед за Донном – Суитинг; в столовую подали еще вина из погреба (хотя старик Хелстоун и бранил своих младших братьев, заставляя их за «пирушкой», как он говорил, но у себя, как старший, любил попотчевать гостей стаканчиком), и Каролина слышала доносившиеся из-за дверей звуки их голосов и громкий хохот. «Как бы они не остались пить чай», – думала она с тревогой, ибо угощать их не доставило бы ей ни малейшего удовольствия. До чего же различны люди! Эти трое тоже молоды и образованны, как и Мур; но какая между ними разница! В их обществе ей невыносимо скучно, в обществе Мура ей так хорошо!

Но судьбе в этот день угодно было побаловать ее и другими гостями, – вернее, гостьями, которые, теснясь в коляске, запряженной низкорослой лошадкой, через силу тащившей ее, катили в это время из Уинбери: пожилая леди с тремя краснощеками дочками ехали навестить ее по-дружески, как водится между добрыми соседями. Вот и в четвертый раз затрещал колокольчик, и Фанни доложила:

– Миссис Сайкс с дочерьми.

Когда Каролине случалось принимать гостей, она, вся вспыхнув, начинала нервно потирать руки и, стараясь побороть свое замешательство, поспешно выходила им навстречу, втайне желая провалиться сквозь землю. В такие минуты ей весьма не хватало умения держаться, хотя она и пробыла целый год в пансионе. И сейчас тоже она нервно потирала свои маленькие ручки, ожидая появления миссис Сайкс.

Вскоре в комнату торжественно вступила миссис Сайкс, высокая, желчного вида особа, которая любила всячески выставлять напоказ свое благочестие – впрочем, достаточно искреннее – и славилась гостеприимством по отношению к священникам. За ней в комнату вплыли ее дочери, все три видные, статные и довольно красивые.

Следует отметить, что английских провинциалок роднит одна особенность: у всех – или почти у всех, молоды они или стары, хороши собой или дурны, жизнерадостны или печальны – застыло на лице многозначительное выражение. «Я знаю, – как бы говорит оно, – я этим не хвастаюсь, но твердо знаю, что я образец благопристойности; поэтому пусть все, кто приближается ко мне или к кому приближаюсь я, глядят в оба, ибо если что-либо отличает их от меня – в одежде или манере держаться, во взглядах, убеждениях или в поступках, – то это совсем не похвально».

Миссис Сайкс и ее дочери не только не были исключением из этого правила, но, напротив, представляли собой его блистательное подтверждение. В мисс Мэри, привлекательной, любезной и добродушной девушке, самодовольство проявлялось довольно мягко, в виде величавости; но в красавице Гарриет, которая держалась высокомерно и холодно, оно сказывалось резче, а тщеславная, бойкая, дерзкая, вертлявая мисс Ханна и не думала скрывать высокого мнения о своей особе; что касается их матери, то в ней это чувство таилось под степенностью, приличествующей ее возрасту и славе доброй христианки.

Первые минуты встречи прошли довольно благополучно. Каролина была рада их видеть (отъявленная лодыжка!), выразила надежду, что все они в добром здоровье, что миссис Сайкс уже не так сильно кашляет (миссис Сайкс кашляла уже лет двадцать), справилась, здоровы

ли оставшиеся дома сестры; на последний вопрос все три мисс Сайкс, сидевшие на стульях напротив вращающегося табурета, на который, после небольшого колебания, уселась Каролина, сообразив, что кресло следует предложить миссис Сайкс, – впрочем, эта дама предупредила ее, завладев им без приглашения, – все три мисс Сайкс ответили дружным, чрезвычайно величественным кивком. Столь торжественный кивок потребовал молчания, и оно наступило на целых пять минут.

Миссис Сайкс нарушила его, осведомившись, не было ли у мистера Хелстоуна приступа ревматизма, не утомительны ли для него две воскресных проповеди и в силах ли он отправлять церковную службу полностью. Услыхав, что он ни на что не жалуется, она и три ее дочери хором воскликнули, что он «для своих лет удивительно сохранился».

Вновь воцарилось молчание.

На этот раз мисс Мэри попыталась поддержать беседу и спросила Каролину, была ли она в прошлый четверг на собрании библейского общества в Наннли. Каролина, не умевшая лгать, вынуждена была признаться, что не была, – в прошлый четверг она весь вечер просидела за романом, который ей дал Роберт, – и гости в один голос выразили изумление.

– А мы все были, – заявила мисс Мэри, – и мама, и даже папа; трудно было уговорить его, но Ханна настояла; правда, во время проповеди немецкого священника, члена секты моравских братьев, мистера Лангвейлига, он задремал и так клевал носом, что мне было за него стыдно!

– Был там и доктор Бродбент, – воскликнула Ханна, – вот прекрасный проповедник! А на вид никак не скажешь – такое у него грубое лицо!

– Зато славный человек, – вмешалась Мэри.

– Да, хороший, полезный человек, – подтвердила мать.

– А выглядит как мясник, – вставила гордая красавица Гарриет, – я не могла смотреть на него; я слушала, закрыв глаза.

Мисс Хелстоун нечего было добавить, – она никогда не видела доктора Бродбента и теперь глубоко почувствовала свою невежественность. Наступила третья пауза, и, пока она длилась, Каролина размышляла о том, что она, в сущности, просто наивная мечтательница, оторванная от настоящей жизни, не знающая людей и не умеющая жить их жизнью, всецело поглощенная тем, что происходит в белом домике: весь мир для нее сосредоточен на одном из обитателей этого домика. Она понимала, что так не годится и что рано или поздно все это придется изменить; не то чтобы ей хотелось во всем походить на сидевших перед нею дам – нет, ей только хотелось бы иметь хоть немного больше уверенности в себе, не чувствовать себя подавленной их превосходством.

Разговор не клеился, и, чтобы хоть что-нибудь сказать, она предложила гостям выпить по чашке чая, хотя эта любезность стоила ей больших усилий. Миссис Сайкс уже начала было отказываться: «Мы, конечно, очень благодарны за приглашение, но...» – когда в комнату вновь вошла Фанни с поручением от мистера Хелстоуна.

– Джентльмены проведут у нас весь вечер, мисс.

– Какие джентльмены? – полюбопытствовала миссис Сайкс.

Каролина назвала их имена; мать и дочери обменялись многозначительными взглядами: для них общество молодых священников было совсем не тем, чем оно было для Каролины. Суитинг был их любимцем, нравился им и Мелоун – как-никак он тоже носил сан.

– Что ж, раз у вас еще гости, я думаю, и нам следует остаться, – заявила миссис Сайкс. – Провести вечер в обществе священников всегда приятно.

Каролине пришлось проводить дам наверх, помочь им снять шали и поправить прически; когда они кончили прихорашиваться, она снова привела их в гостиную и принялась занимать, как умела, показывая им книжки с гравюрами и всевозможные вещицы из «Палестинской корзинки». Покупать она была принуждена, но неохотно вносила свою лепту, и, когда эту гро-

моздкую корзину приносили к ним в дом, она, кажется, предпочла бы купить всю целиком – будь у нее деньги, – чем пополнить ее хотя бы одной подушечкой для булавок.

Нелишне сообщить для пользы тех, кто не au fait⁶³, что представляют собой «Палестинская корзинка» и «Миссионерская корзинка»: эти meubles⁶⁴ величиной с корзину для белья сплетены из ивовых прутьев, и назначение их состоит в переноске из дома в дом несметного количества подушечек для булавок, игольниц, коробочек для карт, рабочих мешочков, детского белья и прочего; все это сшито руками благочестивых прихожанок, охотно или по обязанности, и продается чуть ли не насильно варварам мужчинам по баснословно высоким ценам. Выручка от такой принудительной продажи идет на обращение иудеев в христианство, на розыски исчезнувших десяти колен Израилевых⁶⁵ и на обращение цветных рас земного шара. Каждая из дам-благотворительниц по очереди держит у себя корзину в течение месяца, изготавливает для нее разные вещи и сбывает их всячески сопротивляющимся мужчинам. В этом-то и заключается самое интересное. Женщины деятельные, с торговой жилкой, всей душой отдаются этому занятию, приходя в восторг, когда им удается навязать суровым труженикам-ткачам совершенно ненужную вещицу по цене вчетверо или впятеро выше ее настоящей стоимости. Менее предприимчивые со страхом ждут своей очереди и, кажется, предпочли бы увидеть у своих дверей самого Князя тьмы, чем эту роковую корзину, которую им вручают в одно прекрасное утро со словами: «Миссис Рауз шлет вам поклон и просит передать, что теперь ваша очередь».

Итак, мисс Хелстоун выполнила свою роль хозяйки дома без всякой радости и с большим волнением, после чего поспешила на кухню, чтобы обсудить с Фанни и Элизой, чем угощать гостей.

– Принесло же их столько! – воскликнула кухарка Элиза. – А я сегодня и хлеба не пекла, думала, до утра нам хватит. Да где там!

– Нет ли у нас кексов? – спросила молодая хозяйка.

– Только три и булка. Сидели бы все они лучше дома, покамест их не позовут. А я-то собиралась отделать свою шляпку!

– Вот что, – сказала Каролина (необходимость найти выход придавала ей энергии), – пусть Фанни сбегает в Брайерфилд и купит сдобных булок, пышек, печенья. Не сердись, Элиза, раз уж так вышло – что поделать!

– Какой же подавать прибор к чаю?

– Самый лучший, серебряный. Я сейчас его принесу.

Она побежала наверх в буфетную и вернулась с чайником, сливочником и сахарницей.

– А чайник вы нам дадите?

– Конечно, и сделайте все побыстрее, – я надеюсь, они уйдут сразу после чая.

«Уф! Хоть бы скорее ушли! – со вздохом прошептала Каролина у дверей гостиной. – И все-таки, приди сейчас Роберт, все выглядело бы иначе! Насколько мне было бы легче занимать этих людей при нем! Я бы хоть слушала его – впрочем, в обществе он довольно молчалив – и охотнее разговаривала бы сама, зная, что он здесь. А слушать их разговоры и говорить с ними мне скучно. Воображаю, как они затрещат, когда войдут священники, и как это будет тоскливо! Однако я порядочная эгоистка, они очень уважаемые люди, и я должна была бы гордиться такой честью. Да я и не считаю, что они хуже меня, отнюдь нет, просто мы очень разные».

Она вошла в гостиную.

⁶³ В курсе дела (фр.).

⁶⁴ Предметы (фр.).

⁶⁵ Исчезнувшие десять колен Израилевых – одна из древних загадок истории еврейского народа: в библейских текстах весьма подробно сообщается о вавилонском пленении иудеев из колена Иудина и колена Веняминова, но довольно туманно – о судьбе остальных десяти колен Израилевых.

В Йоркшире в те времена пили чай солидно и основательно. Полагалось, чтобы стол был уставлен множеством тарелок со всевозможными булочками, намазанными маслом; чтобы в середине стола возвышалась большая стеклянная ваза с вареньем; среди прочих яств непременно должны были красоваться ватрушки и сладкие пирожки; а если можно было добавить блюдо ветчины, нарезанной тонкими ломтиками и украшенной свежей петрушкой, то ничего лучшего не приходилось и желать.

К счастью, кухарка Элиза хорошо знала свое дело; она заворчала только в первую минуту при виде незваных гостей, но стоило ей хлопотать, и веселое настроение вернулось к ней, поэтому чай был сервирован наилучшим образом, на столе появились ветчина, и сладкий пирог, и варенье.

Священники, приглашенные на столь роскошное угощение, весело и шумно вошли в столовую, но при виде дам, о чьем присутствии они не были предупреждены, замерли на месте. Мелоун шел впереди; он резко остановился и отступил назад, чуть не сбив с ног Донна, следовавшего за ним. Донн покачнулся, в свою очередь отступил на три шага и толкнул Суитинга прямо в объятия Хелстоуна, замыкавшего шествие. Послышались восклицания, хихиканье; Мелоуна попросили быть поосторожнее и потребовали, чтобы он вошел первым, что он и сделал; однако лицо его до корней волос залилось багрово-сизым румянцем. Но тут Хелстоун, выступив вперед из-за спин застенчивых священников, приветствовал прекрасных гостей, обменялся с каждой из них рукопожатием и любезной шуткой и уютно уселся между прелестной Гарриет и бойкой Ханной, попросив при этом мисс Мэри занять место напротив, чтобы он мог хоть любоваться ею. С девицами он всегда держался обходительно и непринужденно и поэтому пользовался их расположением; но, в сущности, женщин он не уважал и не любил, и те из них, кому доводилось короче познакомиться с ним, скорее побаивались, чем любили его.

Священники уселись кто где хотел; Суитинг, оробевший меньше других, пристроился под крылышком миссис Сайкс, которая – он это отлично знал – относилась к нему чуть ли не как к родному сыну. Донн, отвесив с присущим одному ему «изяществом» и наглым видом общий поклон, сказал Каролине визгливым голосом: «Здравствуйте, мисс Хелстоун», – и опустился на стул возле нее, к ее крайнему неудовольствию, ибо Донна она особенно не любила за тупое, несокрушимое самомнение и ограниченность. Мелоун, бессмысленно ухмыляясь, уселся по другую сторону от нее, так что Каролина очутилась между двумя кавалерами, однако толку от них было мало – ни тот, ни другой не способен был поддержать разговор за столом, передать чашку чая, тарелку с булочками или чистое блюдце. Суитинг, тщедушный, как мальчик, был куда проворнее и обходительнее.

Неутомимый говорун в обществе мужчин, Мелоун лишился дара речи, как только попал в общество дам; однако три фразы всегда имелись у него наготове.

Первая: «Вы сегодня гуляли, мисс Хелстоун?»

Вторая: «Давно ли вы видели вашего кузена?»

Третья: «Как идут дела в воскресной школе?»

Когда эти вопросы были заданы и ответы на них получены, разговор иссяк и между Каролиной и Мелоуном прочно воцарилось молчание.

С Донном дело обстояло хуже. Он был нуден и надоедлив, а его пошлая болтовня отличалась к тому же и ядовитостью: он бранил обитателей Брайерфилда, да и весь Йоркшир в целом; сетовал на отсутствие здесь хорошего общества и на всеобщую невежественность; возмущался непочтительностью простолюдинов к дворянам; насмехался над привычками здешних жителей, которым, по его мнению, не хватало хорошего вкуса и умения одеваться, словно сам он принадлежал к сливкам общества, что, однако, трудно было предположить по его манерам и внешнему облику. Он, очевидно, полагал, что подобного рода нападки должны бы возвысить его во мнении мисс Хелстоун или любой другой дамы; между тем он достигал обратного – во всяком случае, с Каролиной – и окончательно ронял себя в ее мнении; иногда, слушая, как

этот ничтожный болтун порочит ее родной край, она, уроженка Йоркшира, загоралась негодованием и, резко обернувшись к нему, высказывала ему в глаза горькие истины: она говорила, что упрекать других в неотесанности – еще не признак хорошего воспитания и что плох тот пастырь, который постоянно высмеивает свою паству. Ему, как служителю церкви, доказывала она, не пристало сетовать на то, что приходится посещать только бедняков и произносить проповеди только перед бедняками. Неужели он полагает, что духовный сан принимают ради того, чтобы облачаться в роскошные одежды и восседать во дворцах? В подобного рода суждениях все трое младших священников усматривали недопустимую дерзость и неблагочестие.

Чаепитие тем временем шло своим чередом, гости болтали без умолку, как и предвидела хозяйка. Мистер Хелстоун был в ударе (впрочем, он всегда блистал в обществе, в милом дамском обществе; ведь только наедине со своей юной племянницей он угрюмо замыкался в себе) и поддерживал непринужденную беседу со своими соседками, не забывая и о мисс Мэри, сидевшей напротив; правда, к ней пожилой вдовец не проявлял особого интереса – Мэри была самой умной из сестер и наименее кокетливой, а Хелстоун терпеть не мог умниц. Он предпочитал им женщин глупеньких, тщеславных, ветреных и даже со смешными слабостями, – ведь тогда они отвечали его представлению о них, они и на самом деле были такими, какими он хотел их видеть, – куклами, с которыми можно позабавиться на досуге, а потом выбросить.

Его любимицей была Ханна; эгоистичная и самовлюбленная красавица Гарриет была все же недостаточно пуста, чтобы вполне удовлетворять его вкус; наряду с ложным самолюбием, Гарриет обладала также и врожденным чувством собственного достоинства; если она и не изрекала мудрых истин, как оракул, то и глупостей особых не болтала. Она не позволила бы обращаться с собой как с игрушкой, куклой, ребенком; она требовала поклонения.

Ханна же ценила не уважение, а одну только лесть; стоило ее поклонникам сказать ей, что она ангел, и она позволяла обращаться с собой как с дурочкой. Она была так легковерна и ветрена, так глупела, когда ее окружали лестью, вниманием, восхищением, что Хелстоун в иные минуты поддавался соблазну вновь вступить в брак, избрав Ханну спутницей жизни; и только спасительное воспоминание о бремени супружества, некогда столь тяготившем его, да взгляд на семейную жизнь вообще охлаждали его чувства, подавляли нежный вздох, готовый вырваться из его старой закаленной груди, и не позволяли ему сделать Ханне предложение руки и сердца, которое польстило бы ей, а быть может, и обрадовало бы.

Весьма вероятно, что она вышла бы за него замуж; родители дали бы благословение на этот брак, и ни пожилой возраст Хелстоуна, ни его душевная черствость не испугали бы их; он был священник, жил в достатке, дом у него был хороший, по слухам, он даже располагал значительным состоянием (на этот счет люди ошибались: пять тысяч фунтов, унаследованные им от отца, он пожертвовал до последнего пенни на постройку и украшение новой церкви в его родной деревне в Ланкашире, – он любил иной раз позволять себе царственно-щедрые жесты и, если что-нибудь забирало его за живое, готов был, не задумываясь, многим пожертвовать), и родители Ханны без колебаний вверили бы дочь его любви и попечению; и блистательная бабочка, вторая миссис Хелстоун, нарушив все законы природы, порхала бы в первый, медовый месяц, а остальную жизнь ползала бы жалкой, раздавленной гусеницей.

Суитинг сидел между миссис Сайкс и мисс Мэри, которые наперебой ухаживали за ним, видел перед собой сладкие пирожки, а на тарелке у себя варенье и печенье и был на вершине блаженства. Он любил всех мисс Сайкс, и все они отвечали ему тем же; он считал их очаровательными девушками, любая из них могла составить счастье порядочного человека. Единственно, что омрачало для него эту счастливую минуту, было отсутствие мисс Доры; мисс Дора была именно той девушкой, которую он втайне надеялся в один прекрасный день назвать миссис Суитинг; с ней, величественной, как королева, он мечтал важно прогуливаться по Нантли. Да и в самом деле, если бы королевами становились благодаря внушительным размерам, она

непрерывно стала бы королевой, так она была дородна и могуча: сзади ее можно было принять за раздобревшую даму лет сорока; но лицо у нее было красивое и характер довольно добрый.

Наконец с чаепитием было покончено; да и затянулось оно, собственно говоря, из-за Донна, который почему-то все медлил над чашкой недопитого, остывшего чая, несмотря на то что все вокруг него отпили, да и сам он вдоволь насладился едой; гости за столом начали выказывать признаки нетерпения: уже и стулья закричали, уже и разговор иссяк и наступило молчание; тщетно Каролина спрашивала соседа, не желает ли он горячего чая вместо остывшего, не налить ли ему свежего, – он почему-то не мог ни допить свою чашку, ни отодвинуть ее: ему, очевидно, казалось, что такое особенное поведение придает ему важности; что оставаться последним и заставлять ждать себя – признак величия и благородства. Чайник успел остыть, когда наконец хозяин дома, не заметивший в пылу приятного разговора с Ханной, как затянулось чаепитие, нетерпеливо спросил:

– А кого мы ждем?

– Меня, по-видимому, – снисходительно уронил Донн с таким видом, словно это очень похвально задерживать столько людей.

– Ах вот как? – воскликнул Хелстоун. – Прочтем благодарственную молитву, – добавил он, поднимаясь; гости тоже встали из-за стола.

Однако Донн и после этого просидел еще минут десять в полном одиночестве как ни в чем не бывало, пока мистер Хелстоун не позвонил и не приказал убирать со стола; тут уж ему волей-неволей пришлось допить чай и отказаться от выигрышной роли, которая, по его мнению, выделила его среди других и привлекла к нему всеобщее лестное внимание.

После чая, как и следовало ожидать, гостям захотелось послушать музыку (Каролина уже успела открыть фортепьяно и приготовить ноты). Суитингу представился прекрасный случай показать себя с лучшей стороны, и ему не терпелось поскорее начать; поэтому он с жаром взял на себя трудную задачу – упрямить хоть одну из дам осчастливить общество и исполнить какой-нибудь романс. Он упрашивал, отклонял отговорки, устранял трудности с таким рвением, что наконец добился успеха: мисс Гарриет милостиво разрешила подвести себя к фортепьяно. Тогда Суитинг вынул из кармана разобранную флейту (он носил ее в кармане постоянно, как носят носовой платок) и свинтил ее. Тем временем Мелоун и Донн стояли рядом и посмеивались над ним, что не ускользнуло от внимания случайно оглянувшегося Суитинга; впрочем, в предвкушении своего торжества он ничуть не обиделся, убежденный, что в них говорит зависть.

И торжество началось. Мелоуну и вправду стало досадно, когда он услышал, как Суитинг бойко играет на флейте, и он решил тоже чем-нибудь отличиться, – ну, скажем, разыграть роль нежного вздыхателя (ему уже случалось разок-другой выступать в этой роли, но довольно безуспешно, ибо его старания, как ни странно, не были оценены должным образом); он приблизился к дивану, где сидела мисс Хелстоун, и, грузно опустившись рядом с ней, попытался завязать светскую беседу, всячески при этом гримасничая и ухмыляясь. Стремясь очаровать ее, он вертел в руках диванные подушки и соорудил наконец нечто вроде преграды между собой и предметом своего внимания. Каролина, желая от него отделаться, под первым же благовидным предлогом перешла в другой конец комнаты и уселась рядом с миссис Сайкс; по ее просьбе эта любезная дама с большой охотой принялась показывать свой новый узор для вязки; и, таким образом, Питер Огест остался ни при чем.

Он заметно приуныл, увидев себя покинутым, и не знал, что ему теперь делать на диване с подушками в руках. А он-то собирался серьезно поухаживать за мисс Хелстоун; подобно многим, он полагал, что ее дядя обладает значительным состоянием, и, раз детей у него нет, оно, вероятно, со временем перейдет к его племяннице. Жерар Мур был на этот счет лучше осведомлен; он своими глазами видел красивую церковь, воздвигнутую на деньги благочестивого

мистера Хелстоуна, и в глубине души не раз проклинал эту дорогостоящую прихоть, вставшую на его пути к желанной цели.

Бесконечно тянулся для Каролины этот вечер. По временам она роняла на колени вязанье, опускала голову, закрывала глаза и погружалась в полузабытье, уставшая от бессмысленного гула, наполнявшего комнату, от слишком громкой и фальшивой игры на фортепьяно, пискливых, прерывистых звуков флейты, от смеха дяди, развеселившегося в обществе Ханны и Мэри (хотя, по ее мнению, в их словах не было ничего забавного), но более всего от неумолкаемо трещавшей у нее над ухом миссис Сайкс, болтовня которой сводилась к четырем темам: ее собственное здоровье и здоровье многочисленных членов ее семьи; «Миссионерская» и «Палестинская» корзины; последнее собрание библейского общества в Нантли и то, которое состоится на следующей неделе в Уинбери.

Но вот к миссис Сайкс подошел Суитинг, и вконец утомленная Каролина ухватилась за представившуюся ей возможность выскользнуть из комнаты. Она направилась в столовую, чтобы передохнуть с минутку в одиночестве у камина, где еще тлели угли; здесь было пусто и тихо, со стола убрано, стулья расставлены по местам; Каролина опустила в большое удобное дядино кресло и сомкнула веки, чтобы отдохнуть, не слушать пустые разговоры, не глядеть на пустых людей. Однако мысль ее тотчас же унеслась к белому домику, воображение помедлило на пороге гостиной и заглянуло в контору в поисках благословенного места, очастливленного присутствием Роберта. Однако Роберт был вовсе не там, он находился на расстоянии полумили от дома и был гораздо ближе к Каролине, чем она могла предположить. В эту минуту он уже пересекал церковный двор и подходил к их дому, однако он пришел вовсе не к Каролине, – просто ему нужно было кое о чем сообщить мистеру Хелстоуну.

И вот ты снова слышишь, Каролина, как зазвонил дверной колокольчик; он звонит сегодня уже в пятый раз; ты вздрогнула, ты уверена, что уж это-то он – он, о ком ты все время мечтаешь. Ты сама не знаешь почему, но сердце твое чувствует, что это так; Фанни открывает дверь, ты напряженно прислушиваешься: так оно и есть! Это его голос – низкий, с легким иностранным акцентом, в котором для тебя столько прелести; ты привстала – «Фанни скажет ему, что у дяди гости, и он тотчас уйдет! Нет, нет, этого нельзя допустить» – и против воли, наперекор рассудку, ты идешь к дверям и замираешь у порога, готовая броситься вперед, не дать гостю уйти; но нет, он входит в переднюю и говорит: «Раз уж ваш хозяин занят, проводите меня, Фанни, в столовую да принесите чернила и перо, я напишу ему записку».

При звуках его голоса и приближающихся шагов Каролине теперь уже хочется ускользнуть, скрыться куда-нибудь, но в столовую ведет только одна дверь; выхода нет, она в западне; а ведь Муру, наверное, будет неприятно ее видеть; только что она готова была бежать ему навстречу – сейчас она готова бежать прочь от него. Но бежать некуда, и кузен уже входит в столовую. Да, этого она и боялась, – на его лице мелькнули недовольство и удивление, мелькнули и исчезли. Каролина растерянно пробормотала что-то вроде: «Я только на минутку зашла сюда... отдохнуть...»

Услышав ее грустный голос, увидев ее такой смущенной и подавленной, всякий понял бы, что в ее жизни произошла какая-то горестная перемена, лишив ее веселости и самообладания. Муру, наверное, вспомнилось, как, бывало, вся просияв, она доверчиво бросалась ему навстречу; он, конечно, заметил, что потрясение, пережитое утром, не прошло для нее даром; сейчас была возможность еще раз выказать своей кузине холодность, если уж он твердо решил изменить их отношения. Но, как видно, на фабричном дворе, днем, среди деловых забот это сделать было легче, чем в тихой комнате, в минуту вечернего отдохновения. Фанни зажгла стоявшие на столе свечи, принесла чернила, перо и бумагу и удалилась. Каролина метнулась было за ней, и Мур, будь он последователен в своем поведении, должен был бы позволить ей уйти; однако он продолжал как ни в чем не бывало стоять в дверях, преграждая ей путь; он не просил ее остаться, но и не выпускал из комнаты.

– Не сообщить ли дяде о вашем приходе? – спросила она все тем же сдавленным голосом.

– Зачем же? Я могу передать через вас все, что нужно, а вы будете моим гонцом.

– Хорошо, Роберт.

– Так вот, мне удалось напасть на след одного из негодяев, сломавших мои машины; он из той же шайки, которая напала на склады Сайкса и Пирсона, и я надеюсь, что завтра утром он будет уже в тюрьме. Вы запомните?

– Да, конечно. – Эти два слова были произнесены еще более печальным тоном; она даже покачала головой и вздохнула. – Вы хотите, чтобы его судили?

– Безусловно.

– Не надо, Роберт.

– Почему же, Каролина?

– Вы еще больше восстановите против себя всю округу.

– Но не могу же я из-за этого отказаться от выполнения своего долга, от защиты своей собственности. Этот человек – опасный негодяй, его необходимо обезвредить, лишить возможности причинять зло!

– Да, но его сообщники отомстят вам. Вы не знаете, насколько у нас люди злопамятны. Некоторые хвастают тем, что способны держать камень за пазухой целых семь лет, затем перевернуть его, подождать еще семь лет и наконец бросить в намеченную жертву.

Мур засмеялся.

– Что ж, столь хвастливые заявления даже делают честь вашим милым землякам! Но не беспокойтесь за меня, Лина. Я всегда начеку с вашими добродушными соотечественниками. Не тревожьтесь за меня.

– Могу ли я не тревожиться? Вы мне родной. Если что-нибудь случится... – Она умолкла.

– Ничего со мной не случится. Как вы сами говорите – на все воля Божья, не так ли?

– Конечно, дорогой Роберт. Да храни вас Господь!

– И если молитвы имеют силу, ваша молитва будет хранить меня. Вы иногда за меня молитесь?

– Вовсе не иногда, Роберт, я всегда поминаю в своих молитвах и вас, и Луи, и Гортензию.

– Я так и думал. Когда, усталый и злой, я бросаюсь в постель, как язычник, мне приходит в голову, что кто-то молится о прощении моих грехов, содеянных за день, и о мирной ночи для меня. Я не верю в силу официальных молитв, но молитвы искренние, слетающие с невинных уст, восходят к Небесам и принимаются как жертва Авеля, если тот, о ком молятся, хоть немного достоин их.

– Как вы можете в этом сомневаться?

– Когда человека с детства приучали лишь наживать деньги и он живет только для этого, дышит воздухом одних только фабрик и базаров, странно произносить его имя в молитве и вспоминать о нем среди благочестивых помыслов; и тем более странно, что доброе чистое сердце готово приютить его, защитить его, хотя он этого и не заслуживает. Будь я советчиком моего великодушного друга, я просил бы его забыть о недостойном, у которого единственная цель в жизни – склеить свое разбитое состояние и очистить свое имя от позорного пятна банкротства.

Намек, хотя и выраженный в мягкой и тактичной форме, проник глубоко в сердце девушки.

– Конечно, я думаю о вас только... вернее, я буду думать о вас только как о родственнике, – с живостью ответила она. – Теперь я уже лучше понимаю жизнь, Роберт, чем в дни вашего приезда в Англию, лучше даже, чем неделю тому назад, чем вчера. Знаю, ваш долг – поправить свои пошатнувшиеся дела и вам сейчас не до сентиментальностей. Но и вы не должны впредь истолковывать ложно мое дружеское отношение к вам, – ведь сегодня утром вы меня неверно поняли.

– Что заставляет вас так думать?

– Ваш взгляд, ваше обращение со мной.

– Что вы! Взгляните же на меня...

– О, сейчас вы совсем другой, сейчас я не боюсь разговаривать с вами...

– Да нет, я тот же самый, только Мур-торговец остался там, в лощине; перед вами ваш родственник, Каролина.

– Да, мой кузен Роберт, а не мистер Мур.

– Вовсе не мистер Мур. Каролина...

Но тут из соседней комнаты донесся шум, гости собрались уходить. Дверь в прихожую отворилась: приказано было подать к крыльцу коляску, гости попросили свои шали и шляпки; мистер Хелстоун позвал племянницу.

– Роберт, мне надо идти.

– Да, идите, не то они еще заглянут сюда и увидят меня. А я, чтобы не встретиться с ними в коридоре, выберусь через это окно, – к счастью, оно открывается, как дверь. Но подождите минутку, поставьте подсвечник, я должен еще пожелать вам спокойной ночи. Мы родственники, и нам разрешается поцеловаться; да, как родственник я могу поцеловать вас – и один раз, и второй, и третий... Спокойной ночи, Каролина.

Глава VIII. Ной и Моисей

На следующее утро Мур встал чуть свет и успел съездить верхом в Уинбери, прежде чем его сестра сварила кофе и приготовила бутерброды. Он не сказал ей ни слова о цели своей поездки, и Гортензия ни о чем не расспрашивала; так уж у них было заведено. Деловые тайны – сложные, а подчас и неприятные – хранились глубоко в его сердце и лишь изредка прорывались наружу, пугая Джо Скотта или какого-нибудь корреспондента за границей; сдержанность и скрытность во всех важных делах вошла у него в плоть и кровь.

После завтрака Мур отправился в контору. Генри, сын Джо Скотта, принес ему почту и газеты; Мур сел за стол, вскрыл письма и пробежал их глазами. В них, очевидно, не сообщалось ничего хорошего, скорее даже они содержали неприятные известия, потому что, окончив просматривать последнее письмо, Мур с досадой фыркнул: он ничего не сказал, но злой блеск его глаз говорил о том, что мысленно он клянет эти вести на чем свет стоит. Выбрав перо и резким движением оборвав его верхушку, – только в этом и сказался его гнев, а лицо, как всегда, было невозмутимо спокойным, – он набросал несколько писем, запечатал их, затем вышел и направился к фабрике; спустя некоторое время он вернулся и принялся просматривать газеты.

Однако чтение не увлекло его; он то и дело опускал листок на колени и, скрестив руки на груди, то задумчиво глядел на огонь камина, то в окно, то на часы – словом, явно был чем-то озабочен. Может быть, он думал о том, что на дворе прекрасная погода – утро было на редкость ясным и теплым для февраля – и что неплохо было бы побродить по полям. Дверь конторы была отворена настежь, легкий ветерок и солнечный свет свободно проникали в нее, хотя первый из этих приятных посетителей время от времени приносил на своих крыльях не весеннее благоухание полей, а запах черного удушливого дыма, валившего из высокой фабричной трубы.

Темно-синяя фигура обрисовалась на мгновение в дверях (Джо Скотт только что вышел из красильни); рабочий произнес: «Он пришел, сэр!» – и снова исчез.

Но Мур даже не потрудился поднять глаза. В комнату вошел грузный широкоплечий мужчина, одетый в бумазейный костюм и серые шерстяные чулки; Мур небрежно кивнул ему и предложил присесть, что тот и сделал. Затем он снял поношенную шляпу, засунул ее под стул и отер лоб грязным носовым платком, вынутым из тульи, заметив, что «пожалуй, жарковато для февраля». Мур в ответ только буркнул что-то невнятное, что можно было принять за согласие. Посетитель осторожно поставил в уголок возле себя свой жезл, потом посвистал, желая, вероятно, показать этим, что чувствует себя вполне свободно.

– Вы захватили с собой все нужное? – осведомился Мур.

– А то как же!

Он снова засвистал, а Мур снова погрузился в чтение. Газета, по-видимому, стала интереснее. Вскоре, однако, он повернулся к буфету, не вставая открыл дверцу, вынул оттуда темную бутылку, из которой на днях потчевал Мелуна, стопку и кружку, поставил все это на стол и, обратясь к своему гостю, сказал:

– Пейте, вода в том кувшине.

– Что ж, не помешает, утром что-то в горле пересыхает, – ответил посетитель в бумазейном костюме, вставая и наполняя стопку. – А вы сами не выпьете? – спросил он, привычным движением помешивая напиток, затем сделал порядочный глоток и откинулся на стуле, довольный и благодушный.

Мур, как всегда скупой на слова, отрицательно мотнул головой и снова что-то буркнул.

– Выпили бы! Уж как славно! Один глоток – и сразу на душе веселее. Хорошая водка! Небось выписали из-за границы?

– Да.

– Послушайте меня, выпейте стопку; наши дружки как разговорятся, так и конца-краю не будет! Надо подкрепиться.

– Вы видели сегодня мистера Сайкса? – спросил Мур.

– Видел этак за полчаса... да нет – верно, за четверть часа до того, как отправился сюда. Он сказал, что придет, да, думается мне, и старик Хелстоун пожалует: когда я проходил мимо его дома, ему седлали лошадку.

И действительно, минут пять спустя на дворе послышалось цоканье копыт и раздался характерный гнусавый голос:

– Парень, – видимо, это относилось к Гарри Скотту, ибо он постоянно слонялся возле фабрики с десяти утра до пяти вечера, – отведи-ка мою лошадь в конюшню!

После этого Хелстоун вошел в контору, как всегда, прямой, смуглый и подвижный, а вид у него был оживленнее и деловитее обычного.

– Какое погожее утро, Мур! Как поживаете, друг мой? Ба! Кого я вижу! – воскликнул он, заметив человека с жезлом. – Сегден! Как! Вы во всеоружии? Н-да, вы не теряете времени даром. Но я жду объяснений; мне передали ваше сообщение, но уверены ли вы, что попали на правильный след? Что вы намерены предпринять? Есть у вас разрешение на арест?

– Да, оно у Сегдена.

– Значит, вы сейчас отправляетесь? Я еду с вами.

– Вы избавлены от лишних хлопот, сэр. Он сам явится ко мне. Я готовлю ему торжественную встречу.

– Да кто же это? Один из моих прихожан?

Никем не замеченный, в контору вошел Джо Скотт и остановился у стола; выглядел он довольно зловеще, ибо его рабочий костюм, так же как и лицо, были основательно измазаны темно-синей краской; Мур не ответил на вопрос Хелстоуна и только усмехнулся; тогда Джо с вкрадчивым и лукавым видом выступил вперед и заявил:

– Это один из ваших друзей, мистер Хелстоун, вы о нем частенько вспоминаете.

– В самом деле? Как же его зовут? Ты что-то сегодня повеселел, Джо, как я замечаю.

– Это не кто иной, как преподобный Моисей Барраклу; вы его, кажется, называете «оратор на бочке».

– Вот как, – произнес мистер Хелстоун; он вынул табакерку и взял основательную понюшку. – Вот бы не подумал! Ведь этот благочестивый человек – портной и никогда у вас не работал, Мур?

– Вот это меня и возмущает больше всего. Зачем он вмешивается в мои дела? С какой стати натравливает на меня людей, которых я выгнал?

– Неужели он принимал участие в битве у Стилбро? Ведь он калека, с деревянной ногой!

– Да, сэр, – ответил Джо, – только он был верхом, чтобы скрыть деревяшку. Он их всех и вел, и на нем была маска, а остальные только вымазали физиономии сажей.

– И как же все это открылось?

– Давайте уж я расскажу вам, – ответил Джо. – Хозяин не любит тратить слов попусту, а я не прочь поговорить. Так вот, Моисей ухаживал за Сарой, служанкой мистера Мура, но, видно, ничего от нее не добился; то ли ее отпугнула деревянная нога, или она просто смекнула, что он шельма, но, возможно (женщины, между нами говоря, престранный народ), она его поощряла, невзирая на деревяшку и плутоватость, – просто забавы ради; они это любят, даже самые приятные и скромные. Этакая чистенькая, аккуратненькая, на вид нежный цветочек, а как узнаешь поближе, так всего-навсего кусачая крапива.

– Джо смысленный парень, – вставил Хелстоун.

– Однако Сара имела еще кое-кого на примете; приглянулась она Фреду Мёргатройду, одному из наших работников; этот собой пригож, не в пример Моисею, а что еще нужно женщинам? Вот она и пустилась любезничать с ним. И вот не то два, не то три месяца тому назад

Моисей и Мёргатройд повстречались воскресным вечером; оба шатались возле хозяйского дома, чтобы вызвать Сару погулять, ну и повздорили; завязалась драка, и тут Фред сплеховал; да и немудрено, он еще молод, мал ростом, а Барраклу – тот силач, даром что одноногий, не уступит и самому Сегдену. Послушайте, как он орет на своих молитвенных собраниях, сразу видно, что он не из слабых.

– Ты просто невыносим, Джо, – вмешался Мур. – Тянешь, тянешь, ну прямо как тот же Моисей свои проповеди! Короче говоря, Мёргатройд приревновал Сару к Барраклу, и вот прошлой ночью он с одним приятелем укрылся от ливня под навесом амбара и случайно подслушал, как внутри, в амбаре, Моисей сговаривался со своими сообщниками: открылось, что он был вожаком в ту памятную ночь на Стилброской пустоши, а также и при нападении на склад Сайкса; далее выяснилось, что на сегодня у них намечено явиться ко мне целой делегацией во главе с Моисеем, чтобы самым мирным и благочестивым образом уговорить меня уничтожить ненавистные им машины. Утром я съездил в Уинбери, попросил прислать мне констебля с разрешением на арест и вот сижу здесь, чтобы встретить моего приятеля с должными почестями. А-а, вот уже к нам жалуется и Сайкс. Мистер Хелстоун, постарайтесь подбодрить его; одна мысль о передаче дела в суд приводит его в трепет.

Во дворе затарахтела двуколка. Через минуту в комнату вошел Сайкс, высокий дородный мужчина лет пятидесяти, с приятным, но бесхарактерным лицом; вид у него был растерянный.

– Они уже были? Уже ушли? Вы его схватили? Все уже кончилось? – один за другим посыпались вопросы.

– Нет еще, – хладнокровно бросил Мур. – Мы как раз их ждем.

– Да не придут они; уже около двенадцати. Лучше оставить эту затею; мы только их раздражим, разозлим и лишь ухудшим дело.

– Вы можете не показываться, – ответил Мур, – я сам встречу их во дворе, а вы сидите здесь.

– Но мое имя будет упомянуто на судебном процессе! Жена и дети, мистер Мур, поневоле заставляют человека быть осторожным.

Лицо Мура выразило отвращение.

– Отступайте, если хотите; предоставьте мне действовать одному, я не возражаю. Только имейте в виду – вы напрасно ищите спасения в уступках; ваш компаньон Пирсон, как известно, уступал и терпеливо мирился со многим, но это не остановило негодяев, пристреливших его в собственном доме.

– Дорогой сэръ, выпейте вина с водой, – предложил Хелстоун.

Вино с водой – вернее, все та же голландская водка с водой – не замедлило оказать свое действие на Сайкса, как только он одним глотком опорожнил стакан. Он сразу преобразился, румянец окрасил его побледневшие щеки, и он сделался удивительно храбрым, по крайней мере на словах; он не намерен, заявил он, позволять простолюдинам топтать его ногами, с наглостью рабочих пора покончить; он взвесил все и твердо настроен не останавливаться ни перед чем; если деньги и мужество могут усмирить бунтовщиков, то они будут усмирены; Мур, конечно, волен поступать, как ему заблагорассудится, но он – Кристи Сайкс – готов просудить все свои деньги до последнего пенни, прежде чем отступить. Он расправится с бунтовщиками, вот увидите.

– Еще стаканчик? – предложил Мур.

Мистер Сайкс охотно согласился: сегодня так холодно (Сегдену казалось, что тепло); в такое время года надо беречься, и, конечно, не мешает согреться, а то он совсем окоченел; он и без того кашляет (тут он кашлянул в подтверждение своих слов); этот вот напиток (он приподнял темную бутылку) очень полезен как лекарство (он наполнил свой стакан); не в его правилах употреблять спиртное с утра, но в известных случаях это только благоразумно.

– Вполне благоразумно, пейте на здоровье, – подтвердил Мур.

Теперь Сайкс обратился к Хелстоуну, который стоял у камина, не снимая шляпы, и многозначительно смотрел на него своими умными глазами.

– Вы, сэр, – священнослужитель, и вам, должно быть, неприятно присутствовать при такого рода шумных, волнующих и, можно даже сказать, опасных происшествиях. Осмелюсь заметить, это не для ваших нервов; вы, сэр, человек миролюбивый, ну а мы, промышленники, живем в самой гуще жизни, кипим в ее котле, и мы – народ воинственный; право же, самая мысль об опасности возбуждает, заставляет сердце трепетать. Миссис Сайкс боится, боится каждую ночь, что к нам вломятся и разгромят наш дом, ну а я... я чувствую прилив энергии. Я не могу выразить вам моих чувств, сэр, но, уверяю вас, если что-нибудь произойдет, – влезут ли воры или что другое, – мне кажется, я буду только доволен, такова уж моя натура.

У священника вырвался короткий приглушенный смешок. Мур начал было уговаривать отважного фабриканта выпить еще и третий стакан, но священник, сам человек воздержанный и никому не позволявший в своем присутствии переступить границы приличия, остановил его:

– Хорошенького понемножку, не так ли, мистер Сайкс? – заметил он.

Мистер Сайкс с ним согласился. Приятно, но бессмысленно улыбаясь, он с некоторым сожалением наблюдал за Джо Скоттом, который по знаку Хелстоуна убрал бутылку со стола. Мур, казалось, был не прочь еще позабавиться и подтрунить над своим гостем. Что сказала бы его молодая родственница, если бы могла именно в эту минуту увидеть своего любимого, дорогого, замечательного Роберта, своего Кориолана? Нашла бы она в этом озорном, насмешливом лице что-либо общее с тем лицом, на которое поднимала любящий взгляд, когда оно с такой нежностью склонилось над ней накануне вечером? Неужели это тот самый человек, который провел позавчера вечер в тихом семейном кругу с сестрой и кузиной, – такой снисходительный с одной, такой ласковый с другой, – читая Шекспира и слушая стихи Шенье?

Да, это был тот же человек, но сейчас сказались другие особенности его характера, о которых Каролина только смутно догадывалась. Ну что ж, ведь и сама она, вероятно, не лишена недостатков, как и всякий человек, и, случись ей узнать Мура с худшей стороны, она не осудила бы его слишком строго. Любовь прощает все, кроме низости. Низость убивает любовь, ослабляет даже родственную привязанность; без уважения нет настоящей любви. Мур, невзирая на все свои недостатки, заслуживал уважения: у него не было постыдных и пятнающих человека пороков, как, например, лживость; не был он и рабом своих страстей; деятельная жизнь, к которой его предназначали и подготавливали чуть ли не со дня рождения, поставила перед ним цели более достойные, чем легкомысленная погоня за развлечениями. Поклонник разума, а не раб своих чувств, он никогда и ничем себя не унижил. Таков же был и старик Хелстоун. Для этих двоих ложь, будь то на словах, в помыслах или действиях, была невозможна; ни для того, ни для другого не представляла соблазна только что убранный злополучный темная бутылка; каждому из них подходило гордое звание «венца творения», ибо животные инстинкты не имели над ними власти: они были неизмеримо выше жалкого Сайкса.

Со двора донесся неясный гул голосов и шагов, затем все стихло. Мур подошел к окну, за ним Хелстоун; младший и более высокий стал позади старшего так, чтобы, оставаясь незамеченными, следить за происходившим во дворе; время от времени они молча обменивались красноречивыми взглядами, и в их обычно строгих глазах светилась насмешка.

Раздалось многозначительное покашливание – очевидно, будущий оратор готовился произнести речь, – затем энергичное «ш-ш» по адресу расшумевшихся. Чтобы лучше слышать, Мур чуть приотворил окно.

– Джозеф Скотт, – заговорил кто-то гнусавым голосом (Скотт стоял как часовой у дверей конторы), – разрешите узнать, находится ли ваш хозяин в конторе и может ли нас выслушать?

– А где же ему еще быть! – небрежно бросил Джо.

– Тогда не будете ли вы так добры, – посетитель сделал ударение на «вы», – не будете ли вы так добры доложить, что двенадцать джентльменов желали бы повидать его.

– А коли он спросит, зачем он им нужен, что прикажете ему сообщить?

– Есть к нему дело.

Джо вошел в контору.

– Смею доложить, сэр, двенадцать джентльменов желали бы повидать вас, говорят, «есть дело».

– Хорошо, Джо. Я к их услугам. Сегден, выходите, как только я свистну.

Мур вышел из конторы, сухо улыбаясь; держа одну руку в кармане, другую заложив за борт жилета, он с независимым видом вышел на середину двора; его фуражка была надвинута на самые глаза и затеняла взгляд, светившийся презрением. Его поджидали двенадцать человек, кто в одних рубашках, кто в синих фартуках; как бы возглавляя группу, впереди стояли двое: невысокий человек со вздернутым носом, вертлявый и жеманный, и широкоплечий мужчина, весьма приметный не только из-за своего хитрого лица и лукавых кошачьих глаз, но и благодаря деревянной ноге и костылю; губы его беспрестанно кривились, словно он все время исподтишка усмехался, да и весь его облик не производил впечатления искреннего, честного человека.

– Доброе утро, мистер Барраклу, – довольно приветливо промолвил Мур.

– Мир да пребудет с вами, – прозвучало в ответ, и мистер Барраклу совсем прикрыл свои и без того сощуренные глазки.

– Спасибо за пожелание; мир – отличная штука; я и сам больше всего на свете ценю мир. Но, я полагаю, это не все, что вы хотите мне сказать? Я думаю, вы пришли сюда не из мирных побуждений?

– Что до наших побуждений, они могут показаться странными и нелепыми таким людям, как вы, – ведь вы, сыны мирские, считаете себя умнее «детей света».

– Поближе к делу: что вам надо?

– Сейчас услышите, сэр; если я сам не сумею толком разъяснить вам, то здесь еще одиннадцать человек, они мне помогут: перед нами великая цель и, – тут он перешел с несколько глумливого тона на плаксивый, – даже больше того – эта цель самого нашего Господа!

– Вы, очевидно, собираете пожертвования, чтобы открыть новую молельню, мистер Барраклу? Какое еще у вас может быть дело ко мне?

– Нет, не это было у меня на уме, сэр; но раз Провидение внушило вам эту мысль, приму от вас всякую лепту, какую сообразите пожертвовать, даже самую малую.

Он снял с головы шляпу и протянул ее за подающим, наглая усмешка мелькнула на его лице.

– Если я дам вам шесть пенсов, вы их пропьете.

Барраклу воздел руки ладонями кверху, закатил глаза и застыл в смехотворно ханжеской позе.

– Хороши вы, нечего сказать, – хладнокровно продолжал Мур, – даже не считаете нужным скрывать от меня, что вы отъявленный лицемер и мошенник, что ваша профессия – плутовство; грубо играя свою шутовскую роль, вы рассчитываете меня позабавить и в то же время одурачить людей, которые пришли вместе с вами.

Лицо Моисея вытянулось; он понял, что зашел слишком далеко; пока он обдумывал свой ответ, другой вожак – ему тоже не терпелось себя показать – выступил вперед. Этот человек при всей своей самонадеянности и заносчивости все же не походил на предателя.

– Мистер Мур, – заговорил он гнусавым и сиплым голосом, растягивая слова как бы для того, чтобы присутствующие могли оценить его изысканную манеру выразиться, – правильное было бы сказать, что мы не столько ратуем за мир, сколько взываем к разуму. Мы пришли, во-первых, чтобы просить вас внять голосу рассудка, если же вы откажетесь это сделать, то считаю своим долгом вас предупредить, притом самым решительным образом, что мы вынуждены будем прибегнуть к мерам, которые, возможно, приведут к тому, что вы поймете все без-

рассудство, всю... всю глупость, которые, очевидно, руководят вашей деятельностью как фабриканта в здешнем промышленном округе... гм... я позволю себе заметить, что вы, сэр, как чужеземец, прибывший с дальних берегов, из другой четверти... из другого полушария земли, выброшенный, можно сказать, на скалы, скалы Альбиона, вы не можете понять нас и наших обычаев и не знаете, что идет на пользу рабочим людям, – короче говоря, неплохо было бы вам оставить эту фабрику и без промедления убраться восвояси туда, откуда вы явились. По моему, так будет правильно. Что скажете, друзья? – обратился он к остальным, которые хором откликнулись: «Правильно, правильно!»

– Бр-р-раво, Ной О’Тимз! – пробормотал Джо Скотт, стоявший рядом с Муром. – Куда там Моисею! Скалы Альбиона, другое полушарие! Ну и ну! Да не из Антарктики ли вы прибыли к нам, хозяин? Моисею крыть нечем!

Моисей, однако, не пожелал признать себя побежденным и, метнув неприязненный взгляд на Ноя О’Тимза, снова заговорил, на этот раз более серьезно, отказавшись от язвительного тона, который не принес ему успеха.

– Пока вы не раскинули свои шатры среди нас, мистер Мур, мы жили в мире и покое; можно даже сказать – в дружбе и любви; хотя сам я еще не старый человек, однако помню, как здесь жилось лет двадцать тому назад, когда ручной труд уважали и поощряли и ни один вредный человек не пытался навязать нам эти проклятые машины; я-то сам не суконщик, я – портной, но сердце у меня мягкое, я человек добрый, и когда вижу, как моих братьев притесняют, то, как и мой тезка, великий пророк древних веков, я за них заступаюсь; вот почему я сегодня и говорю с вами напрямик и советую вам выкинуть ваши чертовы машины и взять на работу еще людей.

– А что, если я не последую вашему совету, мистер Барраклу?

– Господь да простит вас. Господь да смягчит ваше ожесточенное сердце, сэр.

– Вы теперь член веслеянской секты, мистер Барраклу?

– Хвала Всевышнему! Да будет благословенно имя его! Да, я принадлежу к методистскому братству.

– Что не мешает вам быть пьяницей и жуликом. С неделю тому назад я возвращался поздно вечером из Стилбро и видел, как вы валялись на дороге мертвецки пьяный. На словах вы проповедуете миролюбие, а на деле только и помышляете о том, чтобы сеять раздоры и распри. Несчастливым, попавшим в беду, вы сочувствуете ничуть не больше, чем мне; из каких-то темных побуждений вы подбиваете их на дурные дела, и точно так же поступает субъект, именуемый Ноем О’Тимзом. Оба вы неисправимые интриганы и наглые негодяи, и вами руководят только пустое, но очень опасное честолюбие и корысть. Среди тех, кто пришел с вами, есть люди честные, хотя и заблуждающиеся, но вы оба – закоренелые мерзавцы.

Барраклу хотел было возразить.

– Молчите! Вы свое сказали, теперь буду говорить я. Я не потерплю, чтобы мной командовали вы или еще какой-нибудь Джек или Джонатан. Вы хотите, чтобы я уехал отсюда; вы желаете, чтобы я отказался от своих машин; вы пускаете в ход угрозы, на случай если я откажусь это сделать; но я отказываюсь, и наотрез. Я остаюсь здесь, я не покину своей фабрики, а в ее стенах поставлю самые лучшие машины, какие только придумают изобретатели. Как вы можете помешать мне? Самое большее, что вы можете сделать, но никогда не осмелитесь, – это сжечь мою фабрику, разгромить ее и застрелить меня самого. Ну а что дальше? Предположим, от фабрики останутся одни развалины, да и меня уже не будет в живых – и что же? Отвечайте, вы все, стоящие за спинами этих мерзавцев: разве это приостановит прогресс науки и изобретение новых машин? Ни на секунду! Другая, более совершенная суконная фабрика поднимется на ее развалинах, и другой, возможно, более предприимчивый владелец придет на мое место. Так вот: я попрежнему буду выделывать свои сукна как смогу лучше и буду поль-

зоваться теми способами, какими мне заблагорассудится. И если после всего сказанного кто-нибудь еще осмелится мешать мне, пусть пеняет на себя! Вы сейчас убедитесь, что я не шучу!

Он громко свистнул. Констебль Сегден, держа в руках свой жезл и разрешение на арест, тотчас же вышел из конторы.

Мур круто повернулся к Барраклу.

– Я знаю, что вы тоже были в Стилбро, у меня есть доказательства. Вы были в маске и своей рукой сбили с ног моего рабочего, вы – проповедник Слова Божьего! Сегден, арестуйте его!

Моисей был схвачен; у присутствующих вырвался крик, они бросились было к нему на выручку, но тут Мур поднял руку (которую до того держал за бортом жилета), и в ней блеснул пистолет.

– Оба ствола заряжены, и шутить с вами я не намерен! Назад!

Пятясь и не спуская глаз со своих противников, Мур проводил Барраклу до конторы; затем он приказал Джо Скотту войти туда вместе с Сегденом и арестованным и заложить дверь на засов. Сам же он принялся ходить взад и вперед перед фабрикой, задумчиво потупив взор и все еще держа пистолет в небрежно опущенной руке. Оставшиеся некоторое время наблюдали за ним, тихонько переговариваясь; наконец один из них подошел к Муру. Человек этот не походил на двух предыдущих ораторов; его мужественное лицо было несколько суровым, но держался он скромно и с достоинством.

– Я не очень-то верю Моисею Барраклу, – начал он, – и хочу поговорить с вами сам по себе, мистер Мур. Я пришел сюда не со злым умыслом, а чтобы сказать вам: надо что-то изменить, сейчас все идет неладно. Нам приходится туго, очень туго. Семьи наши бедствуют, голодают, из-за машин нас выбрасывают на улицу, мы не находим работы, ничего не зарабатываем; что же нам остается? Сказать: пропади все пропадом, лечь и умереть? Нет! Говорить я не мастер, хозяин, но знаю твердо: недостойно человека, наделенного разумом, сразу сдать без борьбы, умереть с голоду, как бессловесная скотина, нет, это не годится. Я против кровопролития; не то чтобы убить, но даже обидеть человека не мог бы, и я против того, чтобы разрушать фабрики и ломать машины; вы верно сказали – ничего от этого не изменится; но говорить я буду, и пусть все слушают. Изобретения, может, и хорошая штука, но нельзя же, чтобы люди из-за них умирали с голоду. Те, кто наверху, должны помочь нам, должны найти какой-то выход, завести другие порядки. Вы скажете: это очень трудно. Ну что ж, стало быть, тем громче нам придется требовать, потому что там, в парламенте, им не захочется браться за такое трудное дело.

– Требуйте от парламента всего, что вам угодно, – оборвал его Мур, – но бессмысленно предъявлять такие требования к владельцам фабрик. Я лично этого не потерплю.

– Жестокий вы человек, мистер Мур, – заметил рабочий. – Может, вы не будете так спешить? Может, повремените с вашими машинами?

– Что же, по-вашему, я представляю всю корпорацию суконщиков Йоркшира? Ну, отвечайте.

– Нет, только самого себя.

– Да, только самого себя. И стоит мне на минуту остановиться, отстать от других, как меня раздавят. Если бы я вас послушался, то не далее как через месяц я был бы разорен. Но разве мое разорение дало бы вашим голодным детям кусок хлеба? Нет, Вильям Фаррен, я не подчинюсь ничьим требованиям – ни вашим, ни ваших товарищей. И не говорите со мной больше об этом; я буду поступать, как нахожу нужным... Завтра же мне доставят новые машины, а сломаете вы их, я закажу новые, и ни за что не отступлюсь.

Фабричный колокол возвестил час обеда. Мур круто повернулся и вошел в контору.

Его последние слова произвели гнетущее впечатление на присутствующих, да и сам он упустил случай приобрести верного друга, поговорив сердечно с Вильямом Фарреном, чест-

ным рабочим, который не питал ненависти и зависти к людям более преуспевающим, не смотрел на необходимость трудиться как на тягостное бремя, а, напротив, был всем доволен, если только ему удавалось получить работу. Странно, что Мур отвернулся от такого человека, не сказав ему доброго слова, не посочувствовав ему. Изможденный вид бедняги говорил о том, как трудна его жизнь, о том, что он неделями, а может, и месяцами лишен был достатка и благополучия. Однако лицо его не выражало ни ожесточенности, ни озлобления. Оно было измученным, удрученным, суровым, но взгляд был терпеливым. Как же мог Мур сказать ему: «Я не отступлюсь» – и уйти без единого слова участия, ничего не пообещав, ничем его не обнадежив?

Об этом и раздумывал Фаррен, возвращаясь к себе; дом его – некогда уютное, чистое, приятное жилье – теперь выглядел мрачно, хоть и по-прежнему сверкал чистотой. В нем царил нужда. Фаррен наконец решил, что этот иностранец, должно быть, себялюбивый, черствый и просто неразумный человек и что даже переезд в чужие края – имеет он только для этого средства – лучше, чем работа у такого хозяина. Придя к этому выводу, он совсем расстроился и пал духом.

Как только Вильям вошел в комнату, жена поставила на стол скудную еду: это была всего лишь миска овсянки, да и той было мало. Младшие детишки съели свою порцию и попросили добавки; этого Вильям не мог выдержать. Он встал и вышел за дверь, между тем как жена его осталась успокаивать малышей. Для бодрости он принялся насвистывать веселую песенку, однако из его серых глаз скатились по щекам и упали на порог две крупные слезы, куда больше похожие на «первые капли грозового ливня»⁶⁶, чем кровь, сочившаяся из раны гладиатора. Он вытер глаза рукавом и, поборов отчаяние, серьезно задумался.

Фаррен все еще стоял на пороге, когда невдалеке показался человек в черной одежде – по виду священник, но это был не Хелстоун, не Мелоун, не Донн и не Суитинг. Ему можно было дать лет сорок; у него было смуглое, ничем не примечательное лицо и преждевременно поседевшие волосы; он шел слегка сгорбившись и казался задумчивым, даже печальным; но, приблизившись к дому, он заметил Фаррена, и приветливая улыбка озарила его озабоченное, серьезное лицо.

– Это ты Вильям? Как поживаешь?

– Неважно, мистер Холл. Вы сами-то как поживаете? Не хотите ли зайти передохнуть?

Мистер Холл (имя его уже знакомо читателю) был приходским священником в Наннли; там же родился и вырос Фаррен, всего лишь три года как перебравшийся в Брайерфилд, чтобы жить поближе к фабрике Мура, где он нашел работу. Войдя в домик и приветливо поздоровавшись с хозяйкой и детишками, он принялся оживленно говорить о том, как много воды утекло с тех пор, как они виделись в последний раз, ответил на вопросы хозяев о его сестре Маргарет, затем принялся в свою очередь расспрашивать их о том о сем, и наконец, бросив быстрый и тревожный взгляд сквозь очки (он был близорук) на голую комнату, на исхудалые, бледные лица детей, обступивших его тесным кругом, на стоявших перед ним Фаррена и его жену, он спросил коротко:

– Ну а с вами-то что? Как вам живется?

К слову сказать, мистер Холл, хотя и вполне образованный человек, вообще говорил с отчетливым северным акцентом, а иногда переходил и на местное просторечье.

– Туго нам приходится, работы нет, – ответил Вильям. – Сами видите, уже продали все, что только можно было, а что будем дальше делать, один Бог ведает.

– Разве мистер Мур вас уволил?

– Уволил; и теперь я так его узнал, что, предложи он мне вернуться, я и сам к нему не пойду.

⁶⁶ Имеются в виду строки из 4-й песни «Чайльд Гарольда» Байрона, где последние капли крови, сочащиеся из раны умирающего гладиатора, сравниваются с первыми каплями дождя.

– Ты никогда прежде так не говорил, Вильям.

– Знаю, но я никогда прежде и не был таким; я стал совсем другим человеком; я бы не тревожился, если бы не жена и ребятишки. Вон какие они у меня худые, изголодавшиеся.

– Ты тоже плохо выглядишь, дружок; уж я-то вижу. Тяжелые настали времена: куда ни глянешь – везде горе. Ну что же, присядь, Вильям, присядь, Грейс, давайте потолкуем.

Чтобы спокойнее потолковать, мистер Холл посадил себе на колени самого маленького и положил руку на голову другого малыша; те принялись было щебетать, но он унял их, помолчал с минуту, задумчиво глядя на горстку золы, тлевшую в камине, затем промолвил:

– Да, печальные времена. И конца им не видно; так уж Богу угодно! Да будет его святая воля! Но тяжело испытывает он нас. – Священник снова призадумался. – Итак, у тебя нет денег, Вильям, и нечего продать, хотя бы на небольшую сумму?

– Нечего; я продал и комод, и часы, и этажерку красного дерева, и чайный поднос, и фарфоровый сервиз, что я получил за женой в приданое.

– А если бы кто-нибудь дал тебе в долг фунт-другой, сумел бы ты их с толком употребить? Сумел бы снова встать на ноги?

Вильям молчал, но жена поспешила ответить за него:

– А то как же, сэр, конечно, сумел бы: он смысленный, наш Вильям. Будь у него два-три фунта, он мог бы заняться торговлей.

– Что скажешь, Вильям?

– С Божьей помощью! – неторопливо ответил тот. – Я набрал бы бакалейного товара, тесьмы, ниток и всего, что ходко раскупается, и поначалу занялся бы торговлей в разнос.

– И уверяю вас, сэр, – вмешалась Грейс, – Вильям не станет ни лениться, ни пьянствовать и не растратит деньги попусту. Он мой муж, и не годится мне хвалить его, но я должна сказать, что во всей Англии не сыщешь более честного, степенного человека.

– Ну что ж, я поговорю кое с кем из друзей и думаю, мне удастся достать пять фунтов через денек-другой. Но я их не дарю, а даю в долг; потом ты их вернешь.

– Я понимаю, сэр, и охотно соглашаюсь.

– А пока, Грейс, вот тебе несколько шиллингов на первое время, пока не заведутся покупатели; ну-с, ребятишки, встаньте-ка вокруг меня и покажите, как вы знаете Закон Божий, а мать отправится за покупками к обеду – ведь обед-то у вас был не слишком сытный, я знаю. Ну, начнем с тебя, Бен.

Мистер Холл просидел у Фарренов до возвращения Грейс и затем собрался уходить; он пожал руки Вильяму и его жене и уже с порога обратился к ним с коротким наставлением и теплыми словами утешения; затем они расстались, взаимно пожелав друг другу: «Да благословит вас Бог, сэр», «Да благословит вас Бог, друзья мои!»

Глава IX. Брайермейнс

Когда Мур после разговора с ткачами вернулся в контору, Хелстоун и Сайкс приветствовали его шумными поздравлениями и веселыми шутками. Однако Мур так равнодушно выслушивал комплименты по поводу своего мужества и твердости характера и вид у него был такой хмурый, что священник, бросив на него пристальный взгляд, замолк и сказал Сайксу (ибо тот не отличался догадливостью и неспособен был без посторонней помощи понять, что своим присутствием и разговорами докучает людям):

– Пойдемте, сэр, нам с вами по пути, вот и составим друг другу компанию. Простимся с хозяином, ему не до нас: у него сейчас мечтательное настроение.

– Но где же Сегден? – спросил Мур, озираясь по сторонам.

– Вот то-то! – вскричал Хелстоун. – Вы были заняты, но и я не сидел сложа руки и скажу без хвастовства, немного помог вам. Я решил не терять времени зря, и, пока вы разговаривали с Фарреном, – так, кажется, зовут этого унылого субъекта, – я отворил окно на задний двор и приказал Мёргатройду, который был в конюшне, подать двуколку Сайкса к крыльцу; потом выпроводил Сегдена и Моисея с его деревяшкой, посмотрел, как они садились в экипаж (все это, разумеется, с разрешения нашего доброго приятеля Сайкса) и как Сегден взял в руки вожжи, – а правит он отлично. Словом, через каких-нибудь четверть часа наш Барраклу будет в надежном месте – в стенах стилброской тюрьмы.

– Отлично, очень вам благодарен, – ответил Мур и затем, помолчав, добавил: – прощайте, джентльмены.

Он вежливо проводил их до дверей конторы и смотрел им вслед, пока они не скрылись из виду.

Весь день он был молчалив, угрюм и ни разу не обменялся шуткой с Джо Скоттом; тот, со своей стороны, обращался к хозяину только за самым необходимым, однако то и дело забегал в контору помешать в камине и при этом краешком глаза поглядывал на хозяина. Уже запирая двери по окончании работы (в торговле был застой, и фабрика заканчивала теперь работу ранее обычного), он заметил, что сегодня прекрасная погода и он позволит себе посоветовать мистеру Муру прогуляться; это его развлечет.

Мур только коротко рассмеялся и спросил Джо, что, собственно, означает эта удивительная заботливость, – уж не принимает ли он его за женщину или за ребенка? Затем выхватил у него из рук связку ключей и подтолкнул к двери. Однако не успел Джо дойти до фабричных ворот, как Мур его окликнул:

– Джо, ты, кажется, знаешь этих Фарренов? Что, худо им приходится?

– А то как же – Вильям не работает уже больше трех месяцев. Вы сами видели, как он сдал. Они распродали чуть ли не все, что было в доме.

– Он ведь, кажется, был неплохим рабочим?

– Лучшего у нас не было, сэр, с тех пор как вы ведете дело!

– А семья у него хорошая?

– Еще бы! Жена такая милая, работающая женщина и до чего же опрятная! Держит дом в такой чистоте, что, как ни старайся, не найдешь и пылинки. Но теперь-то им туго приходится. Хорошо бы Вильяму устроиться куда-нибудь садовником, что ли, он эту работу знает, жил когда-то у одного шотландца, тот и обучил его разным премудростям.

– Ладно, Джо, можешь идти; что ты на меня уставился?

– У вас нет больше распоряжений, хозяин?

– Только одно – чтобы ты поскорее убрался отсюда. Джо повиновался.

* * *

Весной вечера нередко бывают холодными и сырыми, и хотя весь день с самого утра держалась ясная и солнечная погода, однако на закате похолодало и землю прихватило изморозью; в сумерки серебристый иней покрыл первую траву и набухшие почки, побелил площадку перед Брайермейнсом – жилищем мистера Йорка – и прихватил нежные ростки в саду и на бархатистой лужайке. Что до могучего дерева, осенявшего своими раскидистыми ветвями дом, то оно, казалось, ничуть не страшилось заморозков, – да и что могло сделаться его голым сучьям! Так же гордо держалась еще не одевшаяся листвова ореховая рощица, высоко поднявшая свои вершины за домом.

Окна дома ярко светили во мгле безлунного, хотя и звездного вечера. Место здесь не было ни мрачным, ни уединенным, ни даже тихим. Дом стоял у проезжей дороги, но выстроен он был в старину, когда этой дороги еще не было, и в те времена к нему вела лишь извилистая тропинка среди полей. Не далее мили отсюда лежал Брайерфилд – его шум ясно слышался здесь, и виднелись его огни. Поблизости возвышалась методистская молельня – большой, суровый, сумрачный дом; несмотря на поздний час, в его стенах шло молитвенное собрание, из окон падали на дорогу полосы света, и диковинные псалмы, от которых самый мрачный из квакеров способен был бы пуститься в пляс, будили веселое эхо в окрестностях. Из дома доносились отдельные фразы; вот несколько отрывков из различных псалмов, ибо поющие с необычайной легкостью переходили от гимна к гимну, от напева к напеву.

Кто объяснит
Смысл жизни сей?
Голод томит,
Войны все злей,
Смуты терзают,
Горе гнетет,
Но все возвещает
Иисуса приход!
Наша судьба —
Бой без пощады.
Кровь и борьба —
Смелых отрада.
Время ль укорам?
Все мы умрем,
Сраженные мором,
Огнем и мечом!

Тут пение внезапно сменилось молитвой, выкрикиваемой в полный голос, и ужасающими стонами; одинокий вопль: «Я обрел свободу! Дод О'Биллс обрел свободу!» – разнесся далеко вокруг, и в ответ снова грянул хор.

Милость так высока!
Благость так велика!
Сколь я счастлив, не в силах сказать!
Как овечки в стада,
Собрались мы сюда,
Жизнь и гибель готовы принять.

Славословить Христа
Не устанут уста!
За великое счастье почту
Божий стяг поднимать
И везде прославлять
Неземную его доброту.

Нас Господь возлюбил,
Труд наш благословил;
Словно пастырь сзывает нас он!
Отовсюду сошлись,
Струи в реки слились,
И, смотри, стало нас легион!

Что собрало всех нас?
Может, ангельский глас?
Нет! Сошлись мы сюда для того,
Чтобы дух наш воскрес,
Чтобы с хором Небес
Славить Бога и агнца его!

Снова раздались восклицания, вопли, неистовые выкрики, мучительные стоны, затем с предельным воодушевлением и страстью были пропеты следующие строфы:

Днем и ночью, каждый час
Ад подстерегает нас,
И от дьявольских тенет
Только вера нас спасет!

Даже в логовище льва
Вера в Господа жива,
Даже через море вброд
Нас Христос перенесет!

Последняя строфа прозвучала душераздирающим визгом:

В очистительном огне
Славим Господа вдвойне;
Выше пламя, громче глас:
Не покинь, Всевышний, нас!

И крыша не взлетела на воздух от этих воплей, что как нельзя более красноречиво свидетельствовало о ее прочности.

В Брайермейнсе тоже царило оживление, хотя, конечно, куда более умеренное, чем в молельне. Кое-где в окнах нижнего этажа, выходявших на лужайку, виднелся свет; спущенные занавеси скрывали от посторонних взоров ярко освещенные комнаты, но не совсем заглушали звуки голосов и смеха. Что ж, воспользуемся возможностью войти туда, проникнуть в святая святых этого дома.

В жилище мистера Йорка так весело сейчас вовсе не потому, что туда съехались гости. Нет, там никого не видно, кроме его домашних, и все они собрались в самой дальней комнате правого крыла, в небольшой гостиной, отведенной для вечернего досуга.

Днем вы увидели бы здесь сверкающие окна из цветных, главным образом янтарных и лиловых, стекол, которые поблескивают вокруг двух темных медальонов – на одном изображена величественная голова Шекспира, а на другом – безмятежно спокойное лицо Джона Милтона. Стены увешаны видами Канады с ее зелеными лесами и голубыми водами, а среди них пылает ночное извержение Везувия. Багровое зарево кажется особенно ярким на фоне остальных картин с их холодными тонами – лазурью и белоснежной пеной водопадов и сумрачными лесными дебрями.

Комнату освещает огонь, какого тебе, читатель, если ты приехал из южных краев, наверное, не доводилось еще видеть ни в одном жилище, – это горит жарким чистым пламенем гряда угля, заполнившая большой камин. Мистер Йорк приказывает поддерживать такой огонь даже в теплую летнюю пору. Сейчас он сидит у огня с книгой в руках, а возле на небольшой круглой подставке стоит зажженная свеча; однако он не читает, а смотрит на своих детей. Напротив него сидит подруга его жизни; я могу сейчас подробно описать ее, хотя это не доставит мне большого удовольствия. Она отчетливо видна мне, эта дородная особа весьма мрачного вида; ее чело и вся осанка говорят о бремени забот, – не то чтобы гнетущих и неотвратимых, нет, но о тех повседневных мелких заботах и тяготах, которые любят добровольно возлагать на свои плечи люди, считающие своим долгом выглядеть хмурыми. Увы! У миссис Йорк было именно такое представление о своих обязанностях, и она упорно выглядела угрюмой и мрачной во всякое время дня и ночи. И она жестоко осуждала то несчастное существо – в особенности женского пола, – которое осмеливалось в ее присутствии радостной улыбкой проявлять свой веселый нрав; веселость она неукоснительно считала признаком неблагочестия, приветливость – признаком легкомыслия.

Впрочем, она была очень хорошей женой и заботливой матерью, неустанно пеклась о своих детях, была искренне привязана к мужу; плохо было только одно: если бы ей дали волю, она бы приковала к себе мужа и заставила его забыть обо всех своих друзьях; его родню она не выносила и держала их всех на почтительном расстоянии.

Супруги жили в полном согласии, несмотря на различие характеров: муж был по природе общительным, гостеприимным человеком, любил всех своих многочисленных родичей, а в юности, как уже упоминалось, предпочитал общество веселых бойких женщин; и почему он выбрал в жены именно эту особу, как случилось, что они подошли друг другу, представляется трудноразрешимой загадкой, которую можно, однако, разрешить, если дать себе труд вникнуть в существо дела. Сейчас же я ограничусь замечанием, что в натуре мистера Йорка наряду с жизнерадостностью уживалась и некоторая мрачность, и потому-то ему пришлось по душе угрюмость его супруги. Впрочем, это была женщина трезвого ума; с ее уст ни разу не слетело ни одно необдуманное или пустое слово. Она придерживалась строгих демократических взглядов на общество в целом и несколько циничных на человеческую натуру; самое себя она считала безупречно добродетельной, а весь остальной мир – порочным. Основным ее недостатком были неискоренимая подозрительность, мрачное предубеждение против всех людей, их поступков и взглядов; эта подозрительность туманила ей глаза и была ей плохим советчиком в жизни.

Трудно предположить, чтобы у таких супругов были заурядные, ничем не примечательные дети; и заурядными они, конечно, не были. Перед вами, читатель, их шестеро: самого младшего, грудного младенца, мать держит на руках; он пока еще безраздельно принадлежит ей, в нем – одном-единственном – она еще не сомневается, не подозревает его, не осуждает; она его кормилица, он тянется, льнет к ней, любит ее превыше всего на свете, в этом она уве-

рена, – ведь его жизнь всецело зависит от нее, иначе он относиться к ней не может, и поэтому он так ей дорог.

Две девочки, Роза и Джесси, стоят возле отца; они всегда сторонятся матери и никогда по своей воле к ней не подходят. Старшей, Розе, двенадцать лет; она похожа на отца больше всех братьев и сестер – образно говоря, ее головка воспроизводит в слоновой кости черты отца, как бы высеченные из гранита, – все линии и краски гораздо мягче, чем на жестком лице Йорка; лицо дочери лишено жесткости, однако особенно хорошеньким назвать его нельзя; это обыкновенное детское личико с круглыми румяными щечками; только взгляд ее серых глаз отнюдь не детский, в нем уже светится серьезная мысль – правда, пока еще незрелая, но она разовьется, если девочке дано будет жить, и тогда уж дочь намного опередит своих родителей. Их характеры получают в ней иное воплощение – более светлое, благородное, сильное. Сейчас это тихая девочка, в которой иногда проскальзывает упрямство; мать хотела бы воспитать из нее женщину, подобную самой себе, – рабу сурового и скучного долга; однако у Розы уже намечается особый склад ума, в ее головке зреют мысли, о которых мать не имеет и понятия; она по настоящему страдает, когда взрослые смеются над этими мыслями. Против воли родителей она еще не восставала; но, если чересчур натянуть удила, она взбунтуется и раз и навсегда выйдет из повиновения. Роза любит отца, он обращается с ней мягко, без деспотизма, он к ней добр. Мистеру Йорку иногда кажется, что его дочь не жилица на этом свете, – слишком пылливый ум сквозит в ее глазах и в ее суждениях, и поэтому его отношение к Розе окрашено налетом печальной нежности.

Что касается малютки Джесси, то отец далек от мысли, что она недолго проживет: она ведь так весела, так мило болтает, уже и сейчас такая лукавая, такая остроумная! Она может вспылить, если ее заденут, но зато как она ласкова, если с ней добры! Послушание сменяется в ней шаловливостью, капризы – порывами великодушия; она никого не боится, даже своей матери, и не всегда подчиняется ее неумеренно строгим и жестким требованиям, зато она мила и доверчива с теми, кто к ней добр. Очаровательной Джесси суждено быть всеобщей любимицей – и сейчас она любимица своего отца. Если Роза похожа на отца, то эта девчушка, как ни странно, вылитая мать, хотя в выражении их лиц нет ничего общего!

Мистер Йорк, как вы думаете, что бы вы увидели в волшебном зеркале, если бы вам показали в нем ваших дочерей, какими они станут через двадцать лет? Вот оно, это волшебное зеркало; оно поведаст вам об их судьбах и прежде всего о судьбе вашей любимицы Джесси.

Знакомо ли вам это место? Нет, никогда прежде вы его не видели; но вы узнаете эти деревья и зелень – это кипарис, ива, тис. Вам случилось видеть и такие каменные кресты, и такие тусклые венки из бессмертника. Вот оно, это место: зеленый дерн и серая мраморная плита – под ней покоится Джесси. Она прожила только весну своей жизни; была горячо любима и сама горячо любила. За время своей короткой жизни она нередко проливала слезы, извела много огорчений, но и часто улыбалась, радуя всех, кто ее видел. Умерла она мирно, без страданий, в объятиях преданной ей Розы, которая служила ей опорой и защитой среди многих житейских бурь; обе девушки были в тот час одни в чужом краю, и чужая земля приняла усопшую Джесси в свое лоно.

Теперь взгляните на Розу еще два года спустя. Необычно выглядел тот уголок земли с крестами и венками, но еще необычнее представшие перед вами сейчас горы и леса. Эта местность, одетая буйной, роскошной растительностью, конечно, лежит далеко от Англии. Перед нами девственная глушь, диковинные птицы порхают у опушки леса; не европейская это река, на берегу которой сидит погруженная в раздумье Роза – скромная йоркширская девушка, одинокая изгнанница в одной из стран Южного полушария. Вернется ли она когда-нибудь на родину?

Трое старших детей – мальчики: Мэттью, Марк и Мартин. Вот они сидят все вместе в углу, занятые какой-то игрой. Присмотритесь к ним: на первый взгляд вам покажется, что они, как две капли воды, похожи друг на друга; затем вы подметите, что у каждого есть что-то

свое, отличающее его от других, и наконец придете к выводу, что они совсем разные. Все трое темноволосые, темноглазые, краснощекие мальчуганы с мелкими чертами лица – характерная особенность английского типа; у всех разительное сходство с отцом и матерью и в то же время у каждого на лице отпечаток своеобразия, у каждого из них свой характер.

Я не стану обстоятельно описывать первенца – Мэттью, хотя лицо его привлекает внимание и невольно заставляет призадуматься о тех свойствах, о которых оно говорит открыто или которые скрывает. Мальчик не лишен привлекательности; черные как смоль волосы, белый лоб, яркий румянец, живые темные глаза – в отдельности все его черты приятны. В этой комнате его можно сравнить лишь с одной картиной, притом зловещей, которая чем-то напоминает вам внешность Мэттью, а именно – «Извержение Везувия». Душа мальчика, кажется, состоит из двух стихий: из пламени и мрака; в ней не светит ясный солнечный свет, не мерцает зыбкое холодное лунное сияние; за его наружностью англичанина кроется не английский характер; его хочется сравнить с итальянским кинжалом в ножнах британской выделки. Вот что-то досаждало ему – и как грозно он нахмурился! Мистер Йорк замечает это, но что же он говорит? Тихим, вкрадчивым голосом он просит: «Марк, Мартин! Зачем вы сердите брата?» – и никогда ничего другого.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.